

ПРЕДАТЕЛЬ

Автор:

Валерий Осинский

ПРЕДАТЕЛЬ

Валерий Осинский

Читателю предлагается увлекательная криминальная история в духе интеллектуальных детективов Умберто Эко и Дэна Брауна. Необдуманый хулиганский поступок экстремистски настроенного юноши в храме Христа Спасителя во время службы, на которой присутствует политическая элита современной России, приводит в движение маховик административной машины. Спецслужбы пытаются представить дело, как политический заговор студентов. Действие романа причудливым образом переплетается с трагической историей Христа. Книга содержит нецензурную брань.

ПРЕДАТЕЛЬ

Валерий Осинский

Компьютерная верстка Эвелина Ракитская

Корректор Ольга Ивановна Иванова

© Валерий Осинский, 2021

ISBN 978-5-0053-2423-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предатель

Валерий Осинский.

Предатель.

Часть первая. Ученик

Я написал то, что хотел и так, как мог —

Остальное решает Бог!

1

Ночью Аспинин проснулся с чувством неминуемой беды, в одноместном номере на втором этаже дешевой гостиницы «Верт Галант» в пригороде Парижа. Экономные французы за полночь отключили подсветку продовольственного магазина напротив и неоновые рекламные растяжки через улочку.

Некогда Андрей наобум поселился в этой гостинице и останавливался здесь из-за близости к городу – всего двадцать минут езды до центра, –

и к железнодорожной станции – в полу-квартале от нее.

«Полет валькирий», сигнал его мобильного телефона, вырвался из черного эфира. По вибрации и мерцающему зеленому огоньку Андрей нашарил на столике трубку, включил ночник и сел в постели.

Голос мамы уплывал то на три тысячи километров на восток в Подмоскowie, где ему и положено было быть, то звучал на расстоянии вытянутой руки. Андрей все еще ждал худшего. И когда прозвучало «психиатрическая больница», «срочно приезжай», внутри отпустило: это было лучше того, что он боялся услышать.

Андрей тщетно набрал номер мобильника брата.

Пока вечный левша в отражении туалетного зеркала чистил ровные белые зубы, брился и сердито смотрел Аспинину в серые глаза, неудовольствие из-за внутреннего неудобства от непредвиденных помех уютно устроилось в груди.

Андрей подавил раздражение: людям часто приходится делать неожиданные вещи в неподходящее время. Последние в этом сезоне спортивные сборы закончились: Аспинин работал тренером плавательного клуба «Норд». Из сырой и серой столицы велосипедов Амстердама он через Париж выехал в отпуск. Получается – сразу в Москву.

Теперь ему предстояло вникать в обстоятельства жизни брата близнеца, словно копаться в корзине его белья...

2

Тут Андрею стало не по себе: до него, наконец, дошло – Валерьян спятил!

Утром Аспинин купил билет – ранее он хотел пробыть в Париже еще два дня, – и уехал в Дрезден. В Дрездене заночевал у друга и соперника детства Свена Лодзиевски.

Свен и его жена Нора в ответ на гостеприимство Аспинина в Москве повезли его в свой пригородный домик, который напоминал Андрею гараж средней подмосковной дачи: фритюрница на лужайке, несколько стульчиков и гамак на растяжках среди таких же куцых наделов.

Вернулись они в город поздно вечером. На определителе забытого Аспининым мобильного телефона было два непринятых вызова с неопределимыми номерами.

Рано утром Андрей решил налегке проветриться по старому городу: вещи дожидались в камере хранения на вокзале. Миновал Георгенбау, надстройку северных городских ворот, и, оставив слева Хофкирхе, придворную католическую церковь, повернул с Дворцовой площади на улицу Августа.

Подсобные рабочие в униформе неторопливо начинали свои хлопоты.

Андрей не пошел к набережной через площадь: сделал крюк. Ему показалось, как это ни дико, что кто-то идет за ним. Он пробежал глазами фарфоровую стену «Шествие курфюрстов» во весь фронт, и быстро осмотрелся. На пустынной улице над брусчаткой гулко отдавались его одинокие шаги.

Мимо бывшего дворца принца и здания Саксонского парламента Андрей поднялся на «Балкон Европы», Брюльскую террасу. Отсюда хорошо просматривалась набережная, оба моста, Августа и Коралобрюге, и противоположный берег обмелевшей Эльбы: у кромки экскаватор воткнул когтистую лапу в песок. Солнце ополоснуло первые лучи в мутной воде.

– Здравствуйте! – раздалось рядом на русском.

Аспинин обернулся. Ему кивнул незнакомец в сером костюме. Невысокий, лет сорока, с костистым лицом и глубоко посаженными глазами. Ветерок растрепал его жидкие волосы на косой пробор. Мужчину можно было принять за чиновника средней руки: хорошего кроя костюм, со вкусом подобранный галстук, приличные часы – он взглянул на циферблат, отогнув манжет сорочки. Выглядел мужчина недовольным, очевидно, из-за вынужденного подъема спозаранку в выходной. От него сильно пахло одеколоном.

– Любите исторический центр? – спросил он и улыбнулся. Несколько толстоватые, чувственные губы портили общее впечатление простоты в его славянской внешности. – Здесь в крипте церкви храниться заспиртованное сердце курфюрста Августа Сильного. Знаете? Варварство экспонировать внутренности бывшего властелина.

– Мы экспонируем его целиком...

– А? Да, действительно! – мужчина засмеялся.

– Здесь много странного. Например, на стене из майсенского фарфора «Шествие курфюрстов» даты правления размечены впротивоход кавалькаде.

Незнакомец подумал:

– Да, действительно. Не обращал внимания. Может, курфюрсты, согласно традиции европейского письма слева направо, уходят в прошлое, а время – вперед?

Аспинин украдкой взглянул на мост Коралобрюге. Под ним обычно дожидались туристические автобусы. Площадка была пуста.

– Я не турист. Точнее, сейчас турист... Словом, ваш соотечественник, – перехватил мужчина взгляд Андрея, и снова засмеялся. – Полукаров Антон Сергеевич. Ваши друзья Лодзиевски сказали, что вы, вероятно, еще на набережной.

– Вот, как? Вы знаете Лодзиевски? – растерялся Аспинин.

– Надеялся, что вы, слава Богу, уехали. Нужно поговорить о вашем брате. Вам удобно?

– Да, но... Вы из посольства?

– М-м-м, почти. В отпуске. Жена и дочь, наверное, еще спят. В отеле. Под Прагой. – Мужчина развернул перед носом Аспинина удостоверение, дождался, пока тот удовлетворенно промычит, – хотя Андрей не успел даже сообразить,

где и что читать. – А я из-за вас, теперь вот на службе...

Аспинин уставился на Полукарова. Тут его осенило.

– Вы из... Простите, не знаю, как теперь это называется. Что с братом? – как мог спокойнее сказал Андрей. Он относился к поколению, для которого легенды о всемогущем ведомстве воспринимались, как эпоха Ришелье. Но сердце сжалось: его разыскали спозаранку в чужой стране...

Полукаров, посмотрел на Андрея, – действительно ли не знает? – и огорошил.

С его слов, на днях в московском храме Христа Спасителя во время церковного праздника – брат утверждал, что вошел в церковь случайно, – Валерьян спьяну или не в себе из толпы выкрикнул чиновникам что-то наподобие: «встаньте лицом к Богу, а не жопами». (Тут Андрей припомнил привычку российских сановников выстраивать собственный иконостас полукругом к пастве.) И швырнул в толпу яблоко. Службу вел высший иерарх русской Православной Церкви. Охрана скрутила брата и увезла.

Полукаров вынул из внутреннего кармана несколько распечатанных страниц.

– Это нашли в его рабочих бумагах. Переслали по факсу.

Аспинин пробежал по диагонали: «...то, что высокие чиновники стали ходить в церковь не значит, что они православные и поверили в Бога! Власти это выгодно. И политически целесообразно. Сейчас страной правят бывшие комсомольские перевертыши. Только вместо коммунистических лозунгов они пробуют на язык православные ценности, чтобы своей риторикой заткнуть людей...»

– Свидетели утверждают, что хулиганил какой-то паренек. Ваш брат пытался его остановить. Другие показали на Валерия. Полистали его публикации. Словом, теперь там разбираются, была ли это провокация или ваш брат спятил. Что вы сами думаете об этом?

Андрей растеряно пожал плечами.

– Это не все. Пару лет назад на правительственный сайт и на сайт патриархии приходили письма экстремистского толка. В файлах вашего брата найдены черновики этих писем. Поэтому хулиганство это самое малое, что грозит вашему брату, если окажется, что он в здравом уме. Хуже: сопротивление сотрудникам милиции, оскорбление власти, возбуждение ненависти по религиозным признакам, экстремизм.

– Он во всем признался?

– В том-то и фокус, что да. Но в деле много неясного. Например, паренек. Если это действительно он швырял, зачем ваш брат его покрывает? Ваш брат написал текст библейского содержания и пытался его опубликовать. Не берусь судить о художественных достоинствах работы, не читал. Специалисты нашли работу слабой. Правда, и работу-то саму целиком никто не видел. Издания, куда он обращался, вернули ему рукопись. Здесь, кстати, – потрянул чиновник распечаткой, – утверждается, что в России происходит сращивание светской и духовной власти. Верхи государства и церкви пытаются заполнить идеологический вакуум. Власть рассматривает инакомыслие как попытку дестабилизировать общество.

– Ну и что?

– Да ничего! По отдельности: яблоко и письма – хулиганство и чушь. А в сумме – мотив к действию. Религия – это политика. Правительства приходят и уходят. А влияние церкви неизменно. Возьмите попытки раскола в Украине. Раскол в Эстонии.

– При чем тут мой брат? Он никогда всерьез не интересовался религией.

– Да знаю, что не при чем! Ерунда это: о сращивании и прочее! – проворчал Полукаров. – Его работой заинтересовалось небольшое французское издательство «Пьер Андре». Может нарочно, а может, совпадение. Поэтому меня попросили вас разыскать. Что вы об этом знаете?

– Дай-то Бог, если заинтересовалось! – пожал плечами Андрей.

– Как для писателя – да. По нашим сведениям французы сотрудничают с издательской компанией «Форвард медиа корпорейшн». Компания

финансирует либеральные издания в Европе и в России. Это часть их бизнеса. Председателем директоров компании является Полина Деревянко. Вы ведь когда-то тренировались с ее мужем?

– Мы не виделись с Олегом лет двадцать.

– Но наверняка слышали о гигантском состоянии Олег Владимировича. Он герой скандалов. Испанцы возбудили против него дело по отмыванию денег. Немецкая прокуратура подозревает его в связях с измайловской преступной группировкой. Англичане пишут, что он крутил делишки через торгового представителя Британии в Евросоюзе. Госдеп США аннулировал его визу. У нас он тоже человек известный.

– Если б брат близко знал зятя экс-президента, мы б с вами не разговаривали.

– Ну, даже косвенная связь с ним дала вашему брату преференции: психушка – не арест. Кто рискнет ссориться с серьезным человеком! Вдруг пожалуетесь. – Андрей не понял: Полукаров издевается или говорит всерьез. – Значит, политикой Валерий не интересуется?

– Брат – обыкновенный филолог. Встречался с Зюгановым, Путиным, писателем-диссидентом Бородиным. Вряд ли те помнят о его существовании.

– Да, да, конечно. Но одно дело пьяная выходка распоясавшегося хулигана, и совершенно другое – политический демарш образованного человека. Помните историю с пареньком в синагоге? Дело Петра Кузнецова? Такие вещи теперь под контролем государства.

– Бред! – Андрей потерял терпение. – Ваша охрана прошляпила, а теперь ищет заговор: из идейных соображений яблоко в попа, молодежный экстремизм, заговоры в верхах. А мой брат вдохновитель этого идиотизма! Так что ли?

Полукаров добродушно рассмеялся.

– Здесь это звучит дико! М-м-м, хотите мое мнение? – сказал он. – История эта яйца выеденного не стоит. Какой-то дурак в Москве перестраховался. Решил так: прикажут – посадим. Нет – отпустим. Главное, чтобы хулиган под рукой был,

когда начальство спросит. А если он с кем-то связан, тем лучше – прижмут всех, если надо, и еще звезды на погоны получат. До вашего брата как до писателя никому нет дела! Забылся, перетруился, или покрывает кого-то, думая, что совершает поступок. Люди этой категории для психиатров – в группе риска. Поэтому нам с вами надо разобраться, что у него на уме? Больной – подлечат. А просто осел – сиди в тюрьме! Так даже удобней для всех! У нас за кражу чекушки пять лет дают. А тут в церкви швыряет чем ни попадя...

– Вы меня запугиваете?

– Зачем? Мы ведь не в России! Вы можете туда не ехать. К свободе быстро привыкаешь!

То, что Андрей видел, навещая в отпуск родственников, с каждым годом быстрее гнало его прочь в стерильный мир сытых и дисциплинированных людей. Но именно потому, что дома неуютно, а в этом, уже привычном, мире все хорошо, Аспинин не решался разорвать пуповину с Россией, бросить на произвол тех, кто ему дорог.

– Что вы хотите от меня?

За покладистостью чиновника Андрей, наконец, почувствовал угрозу.

– Как многие литераторы, ваш брат скрытен и в разговоре с посторонними довольно скупен. Его внутренний мир в его работах. Кое-какие труды вашего брата там взяли для проверки. Диссертацию, статьи, прозу. Кое-что он передал сам. Но всегда существуют рукописи, которые автор считает важными в своем творчестве и неохотно с ними расстается. Вы бы не могли помочь нам разобраться в том, чего мы еще не читали?

– Зачем?

– Чтобы выяснить, опасен он или нет. Вы знаете, что это? Обращение к президенту страны! Ни много, ни мало! – Разведчик полистал страницы и хмыкнул. – Суть взглядов автора сводится к тезису, что весь род людской верой в бессмертие держится. Он повторяет Достоевского и Леонида Леонова. По Леонову, кстати, ваш брат защищал диссертацию. Он повторяет известные мысли. Мол, ни один философ так и не объяснил, почему этим вещественным

миром, миром логики и здравого смысла, правит закономерный случай. Разница между гомеомориями Анаксагора, второй навигацией Платона, миром ноуменов Канта, монадами Лейбница или диалектической попыткой Гегеля объяснить Бога – лишь в богатстве их воображения. Все поздние схемы вторичны. Фихте, Шлегель, их идеи, как мухи, болтаются под тем же интеллигибельным потолком. После них никто толком ничего объяснить не может!

– Слишком заумно для политики! Вы философский заканчивали?

– Нет. Поступал в университет на философский. Сейчас многое подзабыл. Так вот, поступки человека, по мнению автора, сводятся к простой вещи: верит он в то, что написано в Евангелии, или нет? Он проводит параллель: от «человек есть мера всех вещей» Протагора к «я мыслю, следовательно, я есмь» Дидро, Сверхчеловеку Ницше и Горького, и экзистенциализму Камю. Говорит об экуменизме. Инициативах епископа Кирилла и о мракобесии Диомиды. Утверждает: потусторонний мир есть, и значит Бог – тоже. Потусторонний мир невозможно отрицать только потому, что нет технических средств, наподобие радио, для контакта с ним. Доморощенная философия!

Главная же мысль автора такова. Противоречие российского общества заключается в тяге интеллектуальной элиты к личной свободе. Политические же группы стремятся подчинять толпу. Для этой цели в необъявленной войне с Россией, богатой углеводородными запасами, семитские лобби развитых стран действуют через наше коррумпированное правительство: реорганизуют образование, армию, силовые структуры. Необразованным быдлом, религиозными фанатиками легче управлять. Россиян, по мнению автора, под предлогом духовного ренессанса, сгоняют в стадо. Инакомыслящих затыкают. Задача же русской интеллигенции, славной своим протестантским духом, донести до общества, что духовные ценности постигаются не коллективным разумом, а каждым человеком отдельно.

Автор утверждает, что в России исторически сосуществуют все основные религии. Власть же, отдавая в СМИ предпочтение Православию, отталкивает от себя миллионы мусульман, иудеев, буддистов, католиков и так далее. Такая религиозная ортодоксия угрожает единству государства.

Полукаров спрятал текст во внутренний карман.

– Возможно, ситуацию в стране он уловил верно: власти нужна национальная идея. И религия для этой цели – инструмент на все времена. – Мужчины переглянулись. – В этом есть смысл! Возьмите – Кавказ. Кремль склонил на свою сторону духовного лидера Кадырова и осуществил преемственность власти. Только автор перегнул: у Кремля нет идеологии. Кроме идеи обогащения. Значит, нет политической воли. Отсюда неразбериха.

– Подождите. Вы постоянно говорите – автор! Вы не верите, что это написал брат?

– Нет, не верю. Вчера я дважды перечитал текст. Я не специалист по стилям. Но кое-какой опыт работы у меня есть. Прочитайте-ка это!

Он подал Андрею страницу и пальцем показал, где читать.

«Славяне мечом защитили веру Христа! Первым делом надо заставить Фурсенко, или кто будет после него, ввести предмет Слово Божье в школах. Кто против этого, тот враг Православия. Его надо гнать из правительства. Мусульмане, иудеи, католики и прочие, пусть учат своих детей своей вере, но чтобы знали нашу.

В силовых структурах все офицеры тоже должны быть православными. Если надо, репрессиями заставим уважать учение Христа. Заставим всех: с пеленок и до государственных постов. Православная Россия – для православных!»

– Настоящая прокламация! – Полукаров забрал лист. – Дома считают, ваш брат покрывает экстремистски настроенную группу молодежи, и выходка в церкви – не случайность, а пиар акция. Проверяют, есть ли у него сторонники среди интеллигенции и имеют ли они источники финансирования. У нас умеют создавать идейных мучеников!

– Вашим коллегам больше нечем заняться? Вы же видите: история из пальца высосана.

– В любом случае, там обязаны проверить связь между хулиганством и письмами! Поэтому надо отфильтровать сочинения вашего брата. Судя по найденным фрагментам, рукопись можно трактовать всяко. Даже, как мотив.

– Вы так говорите, словно брат сочинил новый «Майн кампф»!

Разведчик улыбнулся.

– Как знать? Записки тихо помешанного частный случай, до тех пор, пока они не стали площадными лозунгами. Иначе власти давно б пересажали всех Лимоновых и Пелевиных.

– Россия, вроде, еще светское государство, чтобы сажать за религию.

– Если надо, у нас посадят за что угодно! Все зависит от обстоятельств. Для следственного комитета при прокуратуре против вашего брата улики достаточно.

– Тогда зачем я вам понадобился?

– Вы ведь собирались в Москву? Узнайте, кто написал прокламацию. Соберите рукописи. Узнайте, что действительно произошло в храме. Обращался ли ваш брат в компанию «Форвард»? Поговорите с ним о нашем разговоре.

– Смысл? Если, вы говорите, что рукопись можно трактовать, как мотив?

– Рукописи и призывы это дело прокуратуры. Не хочется, чтобы ваш брат оказался замешан во что-то более серьезное.

Андрей вопросительно посмотрел на разведчика.

– Вы, очевидно, не дочитали? – Полукаров снова извлек распечатку и поискал глазами: – Ага! Вот! Отрывок из другого черновика. Поэтому вы упустили, – пробормотал он и зачитал вслух: – «В мировой истории физическое устранение политической фигуры нередко было единственным решением вопроса. Казни королей или расстрел царской семьи, убийство политических противников диктаторами или их собственная смерть – меняли ход истории. В нынешних условиях, когда авторитарный политик завел Россию в нравственный и политический тупик, нет иного выхода, кроме его физического устранения. Сделать это могут люди, обладающими волей и мужеством. Тогда это не насилие, а избавление. То есть промысел Божий!»

Разведчик сложил бумаги. Андрей молчал.

– Хорошо, что здесь не названы имена. В таком виде это болтовня. Но спецслужбы любого государства в подобных обстоятельствах обязаны проверить информацию. Если в церкви готовился теракт или в записях обнаружат призывы к насильственной смене власти и убийству членов правительства, церемониться с вашим братом никто не станет. Вас подвезти к вокзалу?

Андрей отказался. Чиновник простился и ушел, неторопливой косолапой походкой.

За окном бесшумно проносились чистенькие, словно нарезанные по линейке поля.

В купе Аспинина подсел пожилой немец, вежливо улыбнулся и развернул газету.

В младенчестве родители увезли близнецов в город первой ссылки Пушкина. Отец, чертежник, ушел из семьи, когда братьям было по четыре года. Круглосуточный детсад, спортивная школа-интернат, педагогический институт, служба в армии. Где-то в рассказах бабушки мелькнул прапрадед, путиловский рабочий, за пьянку с цыганами разжалованный партийным начальством из директоров завода в слесари; в какой-то русской глуши был похоронен другой прадед, сельский батюшка.

В восемь лет белый от ужаса Валерьян тащил брата из полыни на болоте, интуитивно догадавшись лечь на лед. В девять – безукоризненно копировал «Пруд в парке. Ольшанка» Поленова, и отобрался в школу с художественным уклоном. Но тренер по плаванию обещал их матери сытный пансион для ее детей в спортивном интернате.

Валерьян сдавал за Андрея школьные и институтские экзамены. В казахстанском стройотряде Аспинины отмахивались от аборигенов монтировкой и цепью. Наотрез отказались служить в спорт роте. И в четыре сержантских кулака насаждали справедливость в приклатненный быт советских вооруженных сил.

После армии бывший тренер Аспининых пригласил Валерьяна ассистентом в финский клуб: удача невиданная для новичка. Эпистолы брата передавали

уныние сытой жизни заштатной страны, где в нордических храмах парят тени Лютера и Агриколы...

Через год Валерьян предложил Андрею заменить его в Хельсинки. «Там не пишется!» Никто не понял выходку: в советских магазинах пропало даже мыло. Андрей согласился и уехал. С тех пор работал в Европе с разными командами.

Скоро советская империя хрустнула, как весенний лед, и филология в России стала нужна менее чем когда-либо. Полуживой от усталости после работы на стройке в мороз, Валерьян тащился домой к матери и готовился к экзаменам в филологический вуз. Летом сдал их на отлично и уехал в Москву.

Возможно, тогда Андрей впервые серьезно задумался о брате. В редакциях ему чаще отказывали, и знакомые долго считали писательство Валерьяна чем-то вроде домоводства. Андрей полагал пустой тратой жизни всякую профессию, что не приносит денег, и в зрелом возрасте, освоив в музыкальной студии прелюдию Шопена №2 для второго класса, забросил музыку. В «рисовании» ему не доставало усидчивости брата. Чтение усыпляло. Бойкими рифмами он смешил непритязательных товарищей-спортсменов: частушки, басни, байронические баллады-пародии под Лермонтова.

А брат, ранимый самоед, нашел единомышленников в зыбком мире грез.

Мать продала дом и вслед за сыном переехала в Россию. Андрей между командировками перебрался ближе к ним. Валерьян развелся с прежней женой, женился на какой-то безымянной для Андрея особе и опять развелся, закончил аспирантуру и защитил диссертацию по филологии. Но едва ли умел определить количество стоп в строке, или место цезуры, ибо считал это пустяком. Строчил для заработка летучие писульки для ежедневных изданий и рецензии на книжки булавночно-маленьких авторов.

За год, подумал Андрей, Валерьян вряд ли мог свихнуться на религии и заговорах.

Попутчик аккуратно сложил газету, простился и вышел.

В Москве с вокзала Андрей позвонил матери, – в больнице уже не принимали, – и на такси отправился домой. На перроне, стоянке такси, в толпе – везде ему мерещился Полукаров.

Некогда Андрей купил сруб в пятнадцати минутах езды по Симферопольскому шоссе от МКАД. Одинокая соседка Андрея перед смертью отказала свой дом приходскому попу, отцу Серафиму Каланчеву. В очередной наезд домой Андрей обнаружил на своем участке склад стройматериалов: батюшка затеял у себя ремонт. Каланчев извинился за самоуправство. С этого началось знакомство соседей.

Теперь Серафиму было за сорок. Поджарый и подтянутый, по утрам он занимался гимнастикой на перекладине во дворе. Летом обливался водой из колодца, а зимой обтирался снегом. В джинсовом костюме за рулем внедорожника Серафим напоминал старого хиппи: окладистая с проседью борода, густые темно-русые волосы, схваченные резинкой в хвост. Неуступчивый взгляд серых глаз на широком калмыцком лице.

Попович учился на втором курсе политеха. Поповна поступила на первый курс медицинского института. Детей Серафим не баловал, но говорил о них с нежностью.

Ближе сойдясь, Андрей подтрунивал над батюшкой вопросами о верблюде и игольном ушке. На что Серафим невозмутимо отвечал: «Служение Господу не означает, что моя семья должна нищенствовать». О роскоши высших церковных иерархов говорил: «Бог им судья!» На досужую казуистику соседа, откашлявшись: «Имя Иисуса, Господа нашего, не для того, чтобы невежды утирали им свои уста». А о своем мирском «прикиде»: «Ты же не ходишь в ладах после работы».

Дома, умывшись, Аспинин переоделся в спортивный костюм и сел в кабинете читать почту. Вскрыв первый конверт, Андрей увидел на стеллажах икону Христа – подарок брата, и подумал, что в Дрездене от страха он соврал, – слава

Богу! – будто Валерьяна не занимала религия. Сейчас он вспомнил давний разговор у Серафима.

(По записям из дневника брата позже Аспинин систематизировал спор.)

...Это был один из редких приездов Валерьяна к Андрею.

После службы Саша, жена Серафима, пригласила Аспининых на чай.

В распахнутое окно веранды Каланчевых втекал прохладный вечер, умытый короткой грозой. Андрей не помнил, к чему пришелся разговор о церкви.

– А что хорошего в неизъяснимой херувимской песни на непонятном языке? – оживился Валерьян. – Сто лет назад в «Церковных стенах» Розанов писал: мол, если я слушаю – то не понимаю, а все же хорошо; и думаю: все хорошо – что мы не понимаем; а что мы понимаем, то уже не хорошо. Ведь это чушь!

– Братан, пощади Серафима! – сказал Андрей. – Он со службы. А ты с проповедью.

– Ничего, пусть! – ответил Каланчев. – Когда еще поговорить?

На веранду вошли Аркаша, его сестра и одноклассник Аркаши и ухажер Леночки, Никита Бельков. На щеках и подбородке Аркаши чернел нежный пушок. Под сарафаном девочки торчали два острых гвоздика грудок, на плече лежала толстая коса с голубой лентой. Никита был чуть выше поповны, коренастый, с чубом, модно начесанным на брови. Ему казалось: домашние Леночки посмеиваются над его любовью, и поэтому пытался выглядеть независимым, но всегда робел перед ее отцом.

Сестра взяла со стола две ватрушки, себе и Никите, и за локоть потянула Белькова к двери. Аркадий приложил палец к губам. Чтобы не шуметь, дети присели по разным углам веранды на табуретки.

Саша уже переоделась: на ней было черное платье и бусы из речного жемчуга.

Валерьян взял с книжной полки Библию и полистал:

– Вот! – нашел он. – Первое послание к коринфянам Святого апостола Павла. Глава четырнадцатая. Читаю выборочно. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдин как скажет: „аминь“ при твоём благословении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». – Валерьян поставил книгу на полку. – А ваши неофиты, поди, и четыре евангелия не назовут?

– Кто как! – отшутился Серафим.

– Сейчас не верить неприлично. Но, скажем, такие как Леонтьев, прошли испытание веры блестящим образованием. И подчинились духовному авторитету! Подчинились вопреки целой буре внутренних протестов. Они именно такой, бездумной, как у Розанова, представляют себе настоящую веру. А невежды? Во что они верят? Не есть ли их вера лишь страх смерти? – взгляд Валерьяна стал неприязненным. – Надеются свечечками да молитвочками выпросить себе воскресенье физическое! Все, что им нужно от Него! Толстой пальцем указал в Евангелии места о воскресении. Иисус никогда не говорил о физическом воскресении людей. И получается, что невежда, как хитроумный Арнобий, в «пари на Бога» выбирает не призрачные наслаждения земной жизнью, а вечное блаженство. Из двух недостоверных вещей предпочитает ту, которая дает надежду!

– «Пари на Бога» заключал Паскаль, – поправил Серафим. – Но мысли у них, действительно, схожи. А вы не боитесь смерти? – насмешливо спросил священник.

– Боюсь. Но в храм я пришел не из расчета. Это было бы унижительно.

– Согласитесь, коль вы пришли в храм не из страха смерти, значит, и у других есть свои резоны! Хотя бы – любовь к Иисусу за Его подвиг. Значит, вы уже не одиноки.

Валерьян сконфузился простым опровержением своего пассажа.

– Я не хотел вас обидеть, – сказал он.

– Ничего. Очевидно, вам надо выговориться. Что скис? – Серафим добродушно похлопал Андрея по тылу ладони. – Заграницей, Андрюха, так не потолкуешь!

– Честно скажу: не понимаю этикета иконописи, – продолжил Валерьян. – Головой согласен, а сердце не лежит! Взять хоть Богородицу и младенца в вашем храме. Позы неестественные. Это даже не младенец, а цыганенок лет пятнадцати, уменьшенный халтурщиком до размеров кошки.

Серафим и Саша переглянулись.

– Ладно, не буду. Мы с вами не так близки, чтоб откровенничать.

– Не капризничайте! Начали – продолжайте. Ведь к чему-то вы затеяли разговор. Только не богохульствуйте, – попросил Серафим. – Иконопись всегда была святым делом на Руси. После Никона икона, может, не совсем та. Не хватает ей древнего благообразия, как, скажем, в иконах строгановского, устюжского или суздальского письма. В нынешней больше художественности. Но настоящими мастерами сделана! И потом, Богородицу по-разному пишут: Скорбящая, Троеручица, Семистрельная и так далее. Надеюсь, вы не станете требовать от Троеручицы мирской достоверности изображения, отринув предание? – в голосе Серафима слышалась легкая ирония.

– Я понимаю, что наивен. Этикет воплощает идею преображенной плоти в мире горнем. Так? Но почему так бездарно? Впечатление, будто древние богомазы только узнали кисть и старательно размножили по всей Руси византийский лубок! Но ведь оттуда нет возврата. Значит, преображенный тлен – лишь фантазии человека. Кто подтвердит, что он именно такой? Детьми в Эрмитаже мы с братом видели полотна на библейский сюжет. Меня тогда потрясла красота Христа. В Третьяковке я, тогда радивый комсомолец, не мог отойти от «Христа» Крамского. Его глаза! Добела сомкнутые костяшки рук! Не знал его учения! А тут сердцем понял то, о чем молчали для меня иконы. Так, если картина заставляет думать безбожника о вере, где в ней «религиозная двусмысленность» и «демоническое начало», о которых говорил Сергей Булгаков?

– Булгаков говорил о «Сикстинской Мадонне», – поправил Серафим.

– Да-да! Но суть его претензий к светской живописи на евангельский сюжет – та же! И вот теперь оглавная икона Спаса на Убрусе у Царских врат вашего

храма! Это не Иисус, а косой мужик с пробором полового. У девы не скорбь на лице, а от флюса раздуло щеку. А им поклоны бьют! – развел Валерьян руками. – Это же настоящее идолопоклонство! В деяниях Бог, сотворивший мир, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах жив, не требует служения рук. Так, кажется? Варварство так писать Бога!

– Я говорила – не подряжай того проходимца, – укорила мужа Саша.

Серафим кашлянул в кулак:

– Нет, Саша, наш гость сравнивает иконопись и живопись, в которой нет духа.

– Ну почему же нет духа, если о вере заставляет думать? Первохристиане бережно сохранили слова Спасителя. Но не сберегли Его изображений. Почему? Рисовать не умели? Умели! А потому, что ограждали Церковь от заразы идолопоклонства. Знали: оно вползет в нее с бездарной мазней. Спасителя даже заковали в схему рыбы. Хотя это лишь совпадение аббревиатуры греческой фразы Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. А как соотнести икону со второй заповедью из Исхода: не сотвори себе кумира и всякого подобия... да не поклонись им, не послужишь? В Священном Писании Христос тоже не велит писать Его портреты.

– Вспомните возражения преподобного Федора Студита на это! – мягко перебил Серафим. – Спаситель не велел апостолам конспектировать Его. А те написали Евангелие. Следовательно, то, что выведено на бумаге чернилами, можно изобразить на доске красками. Это не противоречит потребности человеческого сердца.

– Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. Ничего такого Иисус не говорит о изображении.

Серафим пожевал ус и отхлебнул из чашки.

– Не забывайте, что он проповедовал среди иудеев, а у них запрещено рисовать Бога.

– М-м-м. Допустим: православная иконопись это фронтальная иудаическая запрета. Согласен и с тем, что, коль люди хотят видеть в иконе первообраз, значит, упрекать их за это противно Богу! Но неужели Спаситель выглядел так, как изображает Его православная икона? Предположим, был Евсевий Памфила из «Церковной истории» – правда...

– Церковь признала ее апокрифом.

– ...Да-да. Но предположим. И Авгарь Черный, правитель Озроэны, так получил от Иисуса убрус. Единственное прижизненное изображение Христа. Но в 1204 году братья по вере, – сделал Валерьян ироничное ударение на «братьях по вере», – разгромили Константинополь. Святая реликвия утонула в буре. Остались лишь описания Иисуса. И что в них? Еврипид, не античный, а другой, через три века после Христа привел донос проконсула Иудеи Публия Лентула римскому сенату. Из него следует: волосы Спасителя гладкие и каштановые, борода рыжая и густая, глаза голубые и необыкновенно блестящие. Иоанн Дамаскин «завил» Спасителю волосы. Бороду «выкрасил» в черный цвет. Никифор Каллист Ксанфопул решил, что волосы Его русые, глаза «подходили близко к черным», борода русая и довольно короткая. Кто из них прав? Не имея достоверного описания Иисуса, люди начали его изображать. По какому праву? В послании римлянам сказано: славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку, обожествили неодушевленный предмет, то есть пустоту. А послание к коринфянам! Идол в мире ничто, и... нет иного Бога, кроме Единого.

– У вас хорошая память! – похвалил Серафим. – Хорошо. Давайте придерживаться вашей точки зрения! Но и тогда верующих можно оправдать молитвенным усердием. Они направляют его не на предмет, как вы называете, доску и краски, а на Того, Кто стоит за предметом. Через образ к первообразу...

– Так к чему тогда предмет? Священное Писание, откровение Божье, люди сохранили в письменности. Икона, по мнению Церкви, богословие в зрительных образах. Воплощенная молитва! Допустим! Но на сколько же убого это воплощение в сравнении с Писанием! Писание – лаконичный шедевр литературы! Соотнесите с телом человека материальную основу иконы: доски, краски и так далее. А с душевной стороной, интеллектом и чувствами сравните символику иконописного изображения. Его эмоционально-образный строй. Результат получится удручающий!

Допустим, человек – икона Бога. Ибо сотворил, как написано в Бытие, Бог человека по образу Своему. Тогда выходит: византийские иконописцы унизили до собственного внутреннего безобразия Его Священный Образ! Пренебрегли 82-м правилом Трульского собора. А это правило запретило изображать Христа символически. Повелело усматривать чрез этот образ высоту смирения Бога Слова. Повелело приводить себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и искупление мира.

– Да, но правило 100-е решительно отторгает всяческие изображения, чарующие зрение, растлевающие ум и приводящие к взрыву нечистых удовольствий.

– А Евангелие не чарует?

– Это другое. Икона хранит в себе канонизированный Церковью символ. А если вы отрицаете каноны, то наш разговор упрется в сектантство и потеряет смысл.

– Согласен. Но способен ли необразованный простак расшифровать эти коды без богослова? Как ранние христиане могли усвоить эту заумь? Посредством высокой воцерковленности? Быть ее у них не могло! Тогда Христианская Церковь была слаба и не имела точных правил! Потом, скажите, к чему изобретать велосипед, и вместо графических знаков Писания городить еще более сложные образные знаки на доске?

– На чке. Ее настоящий мастер сам строгал. Все?

– Нет, не все. Древние знали пропорции фигур. Хорошо передавали фактуру материалов. Знали о законах линейной перспективы. У них был опыт античного искусства. Техника обратной перспективы – это вообще шедевр! А горы на иконах – ступени восхождения – образная символика веры! А линии складок на хитонах! Они подчинены общему композиционному ритму! Художественный замысел иконы – совершенен! Так почему воплощение так схематично?

– Послушайте, икона вне времени. Это – символ инобытия, творение соборное. Иконописание в православии не самовыражение, а служение. Аскетическое делание! Даже Горький «В людях» описывает это как артельное ремесло.

– Хорошо! А Алипий, Даниил Черный, Феофан Грек? Почему Стоглавый Собор 1551 года постановил писать иконы так, как писал «Троицу» ученик Грека, Андрей Рублев? Если их отметили среди «соборных», зачем протоирей Булгаков чванно хает «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля? Противопоставляет православную икону живописи? Где за «дивную человеческую красотой», с ее, якобы, «религиозной двусмысленностью», он увидел «демоническое начало»? Ты же, брат, в Дрездене видел Мадонну.

– Не впутывай меня! Мне еще тут жить! – отшутился Андрей.

– А теперь протестанты обвиняют православных в идолопоклонстве.

– Что же вы так ополчились на иконы? – спросила Саша.

– Я не против икон, – в конце концов, католические вертепы не лучше! – а против того, как на православной иконе изображают Христа! Это спор решали с 723 года. Византийцы боялись войны. И прогнулись перед халифом Иезидом. Нашли повод для революции! Халтура обрыгла всем: басилевсу Льву третьему, патриарху Анастасию, их подданным. И они стали раскраивать мазилам черепа. Клали их на расписанную доску, а другой доской – бац по голове! – образно махнул Валерьян. – Не халтурь! Не халтурь!

– Вы, прям, смакуете такое иконопочитание! – ноздри попа возмущенно расширились.

– Не обижайтесь. Просто для меня икона не стоит человеческой жизни. В тех лубках для пращуров было что-то противное вере, если хотя бы один Фома даже сейчас не верит им. Кстати, все могло повернуться иначе, и у нас стало бы, как у лютеран, если б на Никейском соборе басилевс Лев пятый взял верх. Император Константин Копроним в своем трактате как определил понимание иконы? Образ – единосущен с первообразом, тождественен ему; если нет тождества, то нет и образа...

– Вы не dokonчили. Икона Спасителя, написанная художником, не имеет ничего общего с самим Спасителем. Следовательно, единственным образом Христа может служить только Евхаристия! – Серафим смотрел на брата насмешливо.

– А Халкедонский догмат о Богочеловеке Иисусе Христе? Он четко раскрывает различие между природой и личностью Спасителя. Так?

– Иконы Спасителя являют Его личность, а не природу.

– Да, но изображение плоти Христа, отдельно от Божества – несторианская ересь, во-первых. А, во-вторых, Его личность не так схематична, как на византийских образцах. Иначе вряд ли миллиарды смертных поверили бы в такое бессмертие.

– Мы ходим по кругу. Вы смешиваете понятия...

– Что простительно мирскому художнику, служителю красоты, непростительно служителям Бога. Иконы пишут смертные! Но, разве были менее христианами светские художники? Не умаляя византийские образцы, они показали веру такой, какой донес ее до них Тот, кому они посвятили свое искусство! Откуда у православных упрямая спесь подростков, решивших, что они единственные познали истину в вере? А я вам скажу. Они слепо усвоили канонизированную историю евреев. Кичливо возвысились над всем христианским миром. Провозгласили себя народом богоносцем. И впали в смертный грех – гордыню! Евреи тоже считают себя народом избранным Богом. А подвиг Христа не признают. Церковь, тело Господне, носит, говоря образно, разные облачения. Поэтому противоречия конфессий сводятся к спору о фасонах. На груди католика, православного, протестанта, лютеранина, раскольника, униата, католиков православного обряда и множества прочих – единый для всех христиан символ веры. Крест! А Церкви, как у Свифта, решают: с какой стороны разбивать яйцо – с тупой, или острой?

– У-у-у-ху-ху! – Серафим засмеялся и беспомощно замахал руками. – Эк вас понесло! Начали за здоровье, кончили Гулливером! Причем здесь икона то?

– Да притом! Если сфальшивить хоть раз и утверждать, что это истина, и в остальном не поверят! Не те, кто воспитаны в Православии, а – вне него. Утверждать, что Спаситель такой, как на иконе, никогда не видя его – ложь. А из таких мелочей состоит вера. Если Церковь произвольно трактует откровение, тогда позвольте и мне заполнить белые пятна в Евангелии на мое усмотрение! О детстве Иисуса, о юности и до начала его земного служения! И не по-булгаковски, якобы устами лукавого, – что, кстати, очень понравилось

нашей интеллигенции, – а так, как подсказывает сердце!

Церковь две тысячи лет строит храм любви к ближнему. Срок солидный для любого строительства. Но даже его подобия не может соорудить. Так, может, Ему нужны не рабы, а друзья? Ведь, кажется, в Евангелии от Иоанна Иисус говорит ученикам: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего... Сие заповедую вам, да любите друг друга». Я недавно читал то ли у Курбатова, то ли у Варламова о неверии Толстого. Они словно специально замалчивают «Исповедь» и «В чем моя вера». А ведь эти вещи не пустяк. Толстой спорил с церковью в плоскости известных представлений о Боге. По сути, он говорил, что Бог не такой, каким Его представляют люди. Каков Он, они не знают. Не знал этого и граф. Чем все закончилось, известно! Его наместникам удобнее собирать оброк за посредничество с покорных рабов, чем отвечать на непростые вопросы.

– Вы что же, отвергаете Церковь? – спросил Аркаша из своего угла.

Все обернулись к парню. Пустая чашка стояла на полу у кресла. На лбу Аркаши выступила испарина. Верхний край очков запотел, но парень не решился протереть стекла.

– Никто не отвергает Церковь, сынок! – успокоил Серафим. Он не смотрел на гостя: видно, разговор стал ему неприятен. – Здесь и «нетовщина» и протестантизм...

– ...и арианство, и марцианитство, и манихейство, – иронично подхватил Андрей.

– ...и гностицизм, и...

– А ну вас! – отмахнулся Валерьян, и мужчины засмеялись.

– Наш гость ученый человек, – с добродушной усмешкой продолжил Серафим.

– ...о-о-очень ученый! – дурачился Андрей.

– ...бывал за границей и сравнивает. Можете сюда добавить, что теологической основой христианства, то есть троичность Бога, концепция боговоплощения, очеловечивания практически целиком совпадает с зороастрийским, митроистским теологическим видением. А культ Митры был распространен по всей Римской империи в канун пришествия Христа, мир ему. Сам Рим был митроистским, и митраизм долго соперничал с христианством. Все это наносное, пройдет!

– Ты, Аркадий, обиделся за наместников? – спросил Валерьян.

– Вы ответьте! – Парень покраснел.

– Это внутрисемейное, – вмешался Серафим. – Отцы и дети. Аркаша – максималист. Он считает, как Андрей, что у священников не должно быть богатых машин и домов.

– Папа!

– Иисус учил скромности. Церковь – это храм, а не фабрика для производства материальных благ, которой управляют менеджеры. Но ведь, ты сам видишь, сын, мы с мамой много работаем. Чтобы выучить вас с Аленой. Чтобы вы твердо встали на ноги. Выбрали свой путь! – в нотации Серафима послышалась обида.

– Как же, Аркадий, можно отвергать Церковь? – сказал Валерьян. – Церковь хранит веру, обряд. Хоть как-то удерживает людей от гнусностей. Я, как и ты, против приспособленцев в церкви! Для них вера – разменная монета. Сейчас много пишут о митрополитбюро, о чудовищных личных состояниях епископов церкви. В «Русском эсфигмене». В публикациях Митрохина и Тимофеевой. Многие рассекречено. Говорят о том, что гэбэшники через церковную спецслужбу контролировали не только международные религиозные организации, в коих участвовала РПЦ: Мировой Совет Церквей, Христианскую Мирную Конференцию, Конференцию Европейских Церквей, но и своих. Агенты «Светлов», «Адамант», «Михайлов», «Топаз», «Нестеренко» и другие названы поименно. Поместный Собор 1990-го года самое большое дело чекистов в те годы. Надеюсь, нас не пишут? – пошутил Валерьян. Никто не засмеялся. Он этого не заметил и продолжал. – Тогда Крючков разослал по своим управлениям шифровки с приказом двигать на патриарший престол митрополита Ленинградского, Алексия. Первый питерский в Москве! Ну и что? Мы все жили

в этой стране! Лучше было бы, чтобы вертухаи от власти надели рясы и отняли последнее, что оставалось в душах людей? Люстрация старой церковной агентуры – дело спецслужб: в подходящий момент они мажут грязью, чтобы контролировать.

– Но никто из них не покался перед людьми! Прикажи им, они бы снова распяли Христа! Потому что служение для них – служба, за которую они получают деньги!

– Аркаша, ты увлекаешься, – мягко проговорила Саша.

Возникла неловкая и тяжелая пауза. Валерьян поспешил прервать молчание:

– Я, собственно, вот о чем. Лично мне в храме посредник ни к чему...

– После того, что ты наговорил, не диво! – сказал Андрей.

– ...На все есть утешение в Писании. У Горького «В людях», кажется, кочегар Яков говорит: Богу – что ни скажи, все дойдет! Разве не так? Тот, кто презирает любую веру, минимум, дурак. Я не согласен с Толстым, будто человек должен понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось ему, как необходимость разума. – Он обращался уже ко всем. – Разум не постиг вечность, не объяснил чуда творения, и самого Творца. Но и не принимаю богословов, которые ополчились на «разумную веру». Обозвали ее гнусностью и смрадом пред Богом. Началом дьявольской гордыни. Желанием выдать себя за Бога. Самозванством и самовольством! Фома не отрицает Бога. Сомнение – не отрицание. Нетерпимость же Церкви это нетерпимость высшей касты в ее мнении, к – низшим. Толстой до сих пор отлучен. Таков ответ Церкви на сомнения. Но он мирянин, а не поп. Раб божий, а не Церкви. Имел право спрашивать. Иисус учил: кто не против вас, тот с вами! Он учил любить всех.

– Вы много и путано говорите! Когда человек любит, он не спрашивает, почему он любит? Он любит и все, – сказала Саша. – В православии вера и любовь равны.

– Почему только в православии? Иисус крестился у Иоанна. Православного, католика, протестанта? Чем Он особо отметил православных русских? Андрей Первозванный водрузил крест кочевникам. Ему даже с посланием обратиться не к кому было!

– Все это давно известно у Розанова! А вы перечитайте Шмелева! Это от сердца!

– Да что же Шмелев! Его «Лето господне» читаешь, как воду свежую, в жару пьешь! От умиления слезы текут! Не уж то была такая Россия? Как же за девяносто лет ее просмотрели! Словно, закрыли глаза, прыгнули через обрыв, обернулись, а сзади одни красные флаги! Однако ж у Шмелева шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи! Или лужу во дворе накрыли рамой из шестиков, зашили тесом, и одели помойную яму шатерчиком из свежих досок, чтобы Богородица не увидела. Дворовые во главе со стариком Горкиным, который три медали из Синода имеет, и одну «за доброусердие при ктиторе», царя Соломона православным русским чтут! И все такое! А до того год жили, как придется. И лишь на церковную дату полдня до конца богомолья пожили по-божьему. А потом, значит, живи снова, как придется? О чем он пишет – мило русскому сердцу! А все же обман! Нельзя весь век смотреть на божий мир глазами ребенка. Эта византийская система мышления обошла много тяжелых религиозных проблем. Они волновали человечество две тысячи лет. И то, что потом произошло с Россией, не случайность. Только с Россией это могло произойти! Нравственные калеки основали царство «нищих духом», кротких и послушных. Ибо из века в век церковь воспитывала для государства не рабов божьих, а рабов церкви. Точнее рабов административного аппарата Церкви. И нехристи прекрасно этим воспользовались. Подменили церковь партией, единой и самовластной. Стали громить православные храмы, чтобы избавиться от конкурента. А как бы к сильной вере еще мозгов чуток, о чем печалился граф, то шиш два надули бы нас! Храм в сердце не разрушить! Думаете сейчас что-то изменилось? Шиш! Теперь медведь опять гнет русских в дугу, а церковь зовет себе на подмогу. А когда согнет, ему союзники уже лишние. В истории ничто не происходит вдруг. То, что произошло с Россией в октябре семнадцатого, лишь продолжение реформ Петра. Он отделил Церковь от государства, учредил Священный синод. Иначе был бы у нас какой-нибудь православный Иран. Но он оградил Церковь от аристократии. Для народа светской Россию сделали после семнадцатого. По-варварски. Назад к шмелевской сладкой сказке, увы, дороги нет. Не питайте иллюзий! А вот сохранить и возродить Бога в сердцах Православная Церковь может. Природной своей добротой и терпимостью. Только не надо заигрывать с властью. Как правильно пишут: интеллекту давно уже пора приходить в Церковь не спасаться, а спасать Церковь.

– Ну вот, договорились о политике! – сказала Саша. – Вы перечитайте православных философов. Я думаю, батюшка разрешит воспользоваться своей библиотекой.

Серафим покусывал ус.

– Конечно, берите! – сказал он. – Но мне кажется, вы упрямец и не отступите от своего. Вам нужно время, чтобы разобраться в себе.

– Разве в Нагорной проповеди не достаточно сказано, для тех, кто хочет услышать? Послушайте, как люди провозглашают, что нет ничего более твердого и заслуживающего доверия, чем их религиозные догмы. А потом проверьте, как они живут: вам трудно будет предположить, что у них была хоть малейшая вера в Бога. Все усилия русского богословия сводятся к тому, чтобы укрепить над толпой авторитет не Бога, а Церкви. Отсюда нынешний интерес государства к Православию. Такая вертикаль выстраивалась веками! Но к чему, отвергая разум и уподобляя собрание в церкви стаду дрессированных шимпанзе, хитроумными формулами объяснять веру? Что Булгаков, Леонтьев и Зеньковский добавили к Евангелию, чего там нет? Детям сначала объясняют, кто Иисус, а потом разрешают молиться. Ибо слепая вера – это фанатизм, дело случая, и можно верить в фонарный столб, ходить в синагогу, мечеть, костел, и под влиянием другой культуры отстаивать любую веру. Фанатик подменяет веру страхом. А любовь из страха – та же корысть.

Отец Серафим помусолил ус и проговорил:

– Возможно, кое в чем вы правы. Но очень мудрено все у вас. Напихано отовсюду без разбору. Вы за институт церкви для слабых людей, но для себя самого церковь как институт отправления религиозного культа и хранительницу веры – отвергаете. Отводите ей роль лишь помещения, где можно молиться. Следовательно, считаете себя лучше тех, кто принимает обряды веры. Это типично интеллигентская позиция к официальной церкви. К ее якобы имперским претензиям на руководство миром. Этой позиции лет сто! Наперекор формуле: «Русь православная, власть самодержавная!» Тогдашняя реакция на затянувшуюся попытку церкви сдерживать развитие знания. Вне веры объяснений веры много. А для верующего человека эти пояснения – смертный грех: гордыня! Вы против слепого шараханья к Богу, и сами же протестуете против формул и зауми философии. Разберитесь в себе. Без философий и протестов. Мир быстро меняется. Но вот вы читаете Платона и вам понятно. В «Ветхом Завете» находите ответы на свои мысли. Потому что суть человека не меняется. Он любит, ему больно, он боится смерти. И кто-то должен его утешить! Лучше Церковь с ее огромным опытом, а не Горьковский Лука, или еще

кто-нибудь. Согласитесь, все же самый большой опыт борьбы с грехом, развратом и пороком накоплен Церковью, а не одним, пусть даже очень умным человеком.

Церковь это душа человечества, со всеми противоречиями, как внутренняя суть человека. Хорошего в ней больше, чем плохого. Иначе она не простояла две тысячи лет. Возможно, Бог не таков, каким мы Его представляем. Возможно! Но пока люди верят в Него, мир имеет для них смысл. Возможно, девять из десяти пришедших в церковь, как могли бы, исправили б иконы по своему разумению. Но, если они пришли к Богу искренне, им не важна фотографическая точность, о которой вы печетесь. Им важна вера в Бога. Приспособленцы в церкви были и будут. Но ее лицо – люди, которые ей честно служат. И православная наша вера, русская, она самая хорошая, веселая! И слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость, как писал Шмелев. В России: в иконах, в церковном убранстве и вековых обрядах наша культура, наша душа. Не для себя. А чтобы Христа порадовать! И священники хранят душу церкви такой, какой нам ее дал Спаситель, чистой, без примесей. А если каждый начнет умничать, тут и конец вере!

– Не стоило мне в вашем доме...

– Пустяки. Не такое приходится слышать. Вы думающий человек. А думающий человек во что-то все-таки да верит. Но вы сами сказали: разумом веру не постичь. Формально Толстого отлучили от церкви за главу из «Воскресения». В ней говорится о богослужении и таинстве причастия. А фактически его отлучили за гордыню, в которой он не раскаялся. История церкви трагична. А те, кто ей служат, плохие или хорошие, всего лишь люди. Не судите их строго. Ты-то что отмалчиваешься, безбожник? – весело спросил Серафим. – Расскажи ка нам что-нибудь про своих буржуинов!

– Мещанский рай там. Брат знает. Сбежал! Они боятся любить! В русском смысле! А без любви – человек калека. Поэтому и с Богом у них заморочки. Если ты об этом, Серафим. Для них Бог – что-то полезное, как карандаш с резиновым набалдашником: хошь – пиши, хошь – стирай.

По сути, вы говорите о том, что там давно произошло. О реформе церкви! На Втором Ватиканском соборе, кажется, они отменили латынь, чтобы была понятна служба. Священников развернули лицом к публике. Второе укоротили литургию. Тогда за реформы ратовал Иоанн Павел, а против – епископ Марсель

Лефевр из швейцарского Экона...

– Помер уже, – подсказал Валерьян.

– Так вот, теперь у нас, я слышал, епископ Кирилл во время службы отрывок из Евангелия на русском читает, а не на церковно-славянском.

– У него толковые воскресные проповеди по телевизору, – сказал Валерьян.

– Спор, переводить или нет нашу службу на русский, надо понимать, наверху идет давно. Но не переживай, Серафим, – сказал Андрей. – В их газетах пишут, что католики скоро простят раскольников. И все будет по-старому. Люди рано или поздно устают от реформ. А у церкви – ясно выраженное социальное учение и традиции социального служения. Надеюсь, нашим хватит ума не ходить кругами и не повторять их ошибок.

– Вы б женились! – сказала Саша. – Тогда на многие вещи иначе смотрели! Вся ваша философия от того, что вы никого не любите! Люби и веруй! – все, что нужно человеку, кроме хлеба, одежды и крова. Ты, Андрей, чужой везде: дома, за границей. Валера – мается. А если бы вы по-настоящему любили кого-нибудь, здесь, в России, вы бы любили все русское! И иначе смотрели бы на наши обычаи и на нашу веру!

– Ай да попадья! – воскликнул Андрей.

Саша покраснела. Серафим, довольный, помусолил ус. Валерьян промолчал. Аркаша тихонько вышел. За ним – Алена и Никита.

...

...Серафим зашел к Аспинину после вечерней службы. Он был в рясе. Андрей все еще читал почту. Обнялись.

– Неделю назад какие-то люди с участковым обыскивали твой дом, – сказал Серафим. – Я дал им ключи, чтобы дверь не ломали. Дети за ними прибрали. В доме все на месте?

Андрей мысленно обежал углы. Обстановка у него была спартанская: диван, пара кресел. В спальне кровать. В кабинете стол и стул, сотня-другая книг на стеллажах. Ценные вещи и документы хранились у Серафима. Но у Аспинина возникло неприятное ощущение, будто его раздели догола в людном месте.

– Пошли к нам пить чай, – сказал священник.

У Серафима Аспинин зашел в интернет и на сайтах, тех, что в жесткой оппозиции к власти, пробежал написанное о брате. Там спорили о свободе слова, о защите прав человека: депутаты, политики, журналисты, студенты, учителя. Поступок Валерьяна ругали, защищали. («Популярность» брата напугала Андрея.) За всем этим уже не было Валерьяна, а был – предмет спора, о котором поговорят и забудут.

У Каланчевых за встречу выпили водки. Но настроение было как на поминках.

4

По телефону от матери Андрей узнал, что брата перевели из Троицкой больницы для москвичей, в – областную, имени Яковенко, и утром отправился в Мещерское.

Если бы не решетки на окнах розовых, одноэтажных барачков, раскидистый комплекс походил бы на отремонтированный дом-усадьбу знаменитого писателя, с подсобками, флигельками, гостевыми пристройками и с бородатым бюстом на высоком постаменте перед главным двухэтажным зданием администрации.

Андрея оставили дожидаться на скамейке в тесном огороженном дворике. Как не озирался он поминутно, Валерьян подошел на лужайку внезапно. В красной футболке и джинсовых шортах. Брат осунулся и показался Андрею старше их лет. Отчужденный взгляд и мелкие морщины у глаз, едва заметные борозды на углах поджатых тонких губ. Аспинины обнялись и расселись боком и облокотившись о спинку скамейки. Валерьян отложил гостинцы. Было, заговорили о матери, родственниках, за границе и замолчали.

– Что стряслось-то? – спросил Андрей.

– Ты про церковь? – неохотно отозвался Валерьян: – Какой-то пацан рядом завизжал и швырнул яблоко. Я его сцапал. А он вырвался и наутек. Менты решили, что хулиганил я и ко мне. Один от усердия мою жену и тещу на пол пихнул. Я ему – по рогам...

– И все? За это в дурку, а не в КПЗ заперли?

– Сначала там держали. Сюда два дня назад перевели, – брат отвел глаза.

Андрей рассказал о встрече с Полукаровым. Валерьян кивнул.

– Слащавый такой. Аккуратный. Вчера приходил. Спрашивал, как устроился? Больше ничего. Даже за бугор потащились тебя искать! – Валерьян хмыкнул. – Вот бараны! Неужели думают что-то сляпать из этой истории? – он вопросительно посмотрел на брата. Андрей пожал плечами. – Менты меня до ночи держали в обезьяннике. Начальник отделения ждал звонка от прокурора города: отпускать или нет? Когда узнали, что я кандидат наук, как на дрессированную макаку вылупились. Офицерики заговорили, что я правильно сделал. Мол, Медведев и Путин сокращают милицию. Заставляют работать втрое за те же бабки. Думали, я в них швырял. Потом ребятки в штатском повезли в свою районную контору. О матери, о тебе, о нашей родне уже все разнюхали! – подивился он. – Расспрашивали про мои публикации. Привязались к повести на библейский сюжет. Спрашивали, верю ли в Бога? Часто ли хожу в церковь? На фига про Христа писал? Я им про Ренана, Штрауса, Филона Александрийского, Иосифа Флавия прописи читаю. Про египетскую мифологию и митраизм лекцию завернул – у них аж рожи свело от скуки. А с ними дядька лысенький в очечках сидит. Психиатр. Буровил меня взглядом, буровил! Ну, думаю, сейчас приговорчик тебе, Валерик, выпишет – шизик. А он этим двум – мол, я в норме. Те давай куда-то звонить, шушукаться. Сначала в КПЗ, а затем сюда меня загребли. Теперь ясно, чтоб посетителей пускать. Меня даже врачи не смотрели. Держат в одиночном боксе. Когда гуляю, во дворе – никого...

– О чем рукопись?

– Об Иисусе Христе.

– Тебе не остофигели сказки? – сдерживая раздражение, спросил Андрей.

– Вообще-то я для себя писал! И никого читать не заставляю! Хотят сажать за яблоки, пусть сажают! А с остальным – пошли в жопу!

– А лозунги, пацаны...?

– Пусть доказывают, что хотят!

– Ладно, не бутонься, – примирительно сказал Андрей.

Братья помолчали. Но мысли все равно вертелись об одном и том же.

– В церкви ты чего делал?

– На бильярде играл! – проворчал Валерьян: – Гуляли мимо. Свернули в боковой предел.

– Ты пидорка этого разглядел?

– Разглядел! – Валерьян снова отвел взгляд.

– Глянь-ка на меня! – Андрей потянул брата за локоть. – Знаешь его, что ли?

– Да знаю, знаю! Я их всех знаю! – Валерьян вскочил, сделал несколько шагов, вернулся, наклонился к Андрею и зашептал, опасливо озираясь: – Помнишь разговор у Серафима? С него началось. Они потом начитались всякой дряни. Я же им насоветовал. А когда понял, зачем им, они вывозят: мы верим по-своему, как вы! Не в том смысле, что Иисус-человек, а в том, что – имеем право думать по-своему!

– Причем тут Серафим? Кто они-то? Ты хочешь сказать, что... Аркадий...

Валерьян отрицательно повел головой.

– Никита. Швырялся яблоком Никита. Он там с Аленой был.

– На хрена? – опешил Андрей.

– В двух словах не объяснить! Но он так, – Валерьян пренебрежительно отмахнулся. – Девочка тоже не причем. Заводилой у них Аркадий.

– Все равно не верю! Прокламации! Угрозы! У него же батя – священник!

– Да, какие угрозы! Баловство! Их писулькам в обед – сто лет! Они их еще соплячней, в школе писали! Когда у меня хаты не было, помнишь, я у тебя жил. Аркадий часто заходил с твоего компа в «нете» полазить. Фрагмент моей повести на рабочем столе прочел. Я еще черновики разных работ на отдельный файл скидывал – вдруг пригодятся. Он и черновики прочел. Решил: это очень умно. Соштопал все кое-как и в сеть запустил. Думал, мне приятно будет. Типа опубликовал работу самородка. Назвал это – письмом.

– Вот сученок!

– Нет, брат. Все серьезнее, чем ты думаешь. В старшем классе Аркадий что-то наподобие православной ячейки радикального толка организовал. Со скинхедами им не по пути. С «Черным орлом» и «Союзом Михаила Архангела» – тоже. Какое-то Евангельское братство или что-то в этом духе сколотили. Мол, людей надо не убеждать верить в Христа, а заставлять, как в средние века. Иначе Православие в России затопчут. Верхушка Церкви погрязла в роскоши. Светская власть целуется с жидами. Фашисты – мудаки. Словом, у них своя дорога. Что-то такое. Когда Аркадий свои писульки запустил, я сразу понял, – кто! Приехал. Потолковали по душам. Уговорились, что ни он, ни я об этой фигне слыхом не слыхивали. Хулиганы! Мой электронный адрес в электронной библиотеке указан. Хакерских программ пруд пруди – любой адрес взломают. Но на писанину, слава Богу, внимания тогда не обратили.

– Да уж, не обратили!

– Потом Никита через приятеля две гранаты достал. Одну отдал Аркадию. Другую – оставил себе. Чего уставился? Они ведь организация! – со злой иронией сказал Валерьян. – Союз меча, блин, и орала. У Аркадия я гранату отнял. В пруду утопил. Другая – у Никиты. Он утверждает, что выкинул. А теперь прикинь. Этот баран в церкви при всем народе швыряет яблоко в главного попа! Это тебе не снежком по башке прохожему! Я рядом стою! У него в кармане граната! Поймают его, начнут копать! Тут тебе и прокламации по моим лекалам! Еще какие-нибудь призывчики, типа – «бей жидов!» – выплывут! И что я объясню?

Детей подзуживал? В церкви случайно рядом оказался? А когда они дел натворили, пригнулся в сторонку! Детишкам по восемнадцать! Как думаешь, сколько мы все за гранаты схлопочем?

Андрей молчал.

– Так что твой Полукаров не зря зарплату получает! Сразу смекнул, как дело повернуть можно. Мы у него не первые! Хорошо хоть про гранаты не знает. Так что пусть я один пару месяцев в психушке посижу, чем хором лет двадцать за экстремизм париться. – Валерьян вздохнул. – Когда Никита замахнулся, я в миг в башке все прокрутил. Пацана в сторону. Алена сообразила и утащила его.

– Осел ты и твой Никита! Его все равно вычислят и поймают. Тебя в главари запишут, как Полукаров нарисовал. Не пойму, как вы в церкви-то встретились?

– Накануне я Серафиму сказал, что на спас со своими в Храм еду. Звал его. А у него служба. Алена сказала, что тоже в Москву собирается. Развеемся.

– Не хило развеялись! Все равно не понятно! Никита, что debil? Или фанатик?

– Откуда я знаю?

– И Серафим вчера молчал об этом...

– Он не в курсе! Смотри не ляпни! Ты ж его знаешь! Станет детей выгораживать, и еще хуже сделает. Чего доброго, в сообщники запишут. С места попрут. От этих козлов жди чего хочешь. Сейчас чем меньше людей знают правду, тем лучше. Даже тебе зря сказал. Еще за границу не выпустят.

Андрей не ответил. Валерьян подумал.

– Олега они вспомнили, чтобы хоть какую жижу из этого говна выжать! Или наказать покруче, чтобы другим неповадно было. За бытовуху орден не дают.

– Ты точно Олега не видел и в этот, как его... в «Форвард» не ходил?

– Братан, сейчас издают, что хочешь! Читают – сотня другая таких же писарчуков! А у Олега столько одноклассников, однокурсников и соратников, что мы с тобой в конце очереди. Если б Никита не швырнул яблоко, мои письма и прокламации Аркаши были б чекистам до глубокой жопы!

– А французы?

– Ко мне никто не подходил! Не знаю.

– Ладно. Говори, что делать?

– Найди все черновики – я уже не помню, где и что писал, – и все экземпляры рукописи. Их было три. Два в деревне: у нас там дом. Наташа их сожгла. Один у Ушкина. Жена говорит, в квартире был обыск. Жесткий диск из ноутбука выгребли. Но весь текст в твоём компе. Флешка в деревне. В кармане ватника. Не найдут. А вот материалы по рукописи в папочках. Подписаны. Не ошибёшься.

– У меня тоже рылись. Серафим сказал.

– И к матери приезжали. У неё целая коробка моей писанины.

– Если жесткий диск и черновики взяли, чего тогда ищут?

– Вторую часть апокрифа.

– На фига она им? – рассеянно спросил Андрей.

– Не знаю! Может, без окончания рукописи нельзя сделать заключение в деле!

– А где вторая часть?

– Ещё не написал!

– Может они, что-то другое ищут? Про покушения, скажем, или подобную фигню?

Аспинины переглянулись.

– Откуда твой чекист узнал? – спросил Валерьян.

– Из черновиков на рабочем столе твоего компа!

Валерьян вынул из кармана шорт, сложенный вдвое тетрадный лист.

– Найди, что сможешь. Письма, рукописи. Издания, где они могут быть, здесь! Зайди в институт. Там на заочке декан, Назарова Галина Александровна. Она подскажет что-нибудь. Съезди к матери. Если не брезгуешь, к этим... – Андрей понял: к бывшей жене. – Собери все и сожги. От греха подальше! А то за яблоко эти бляди всех библиотекарей пересажают, где я книги брал! Про пацанов ни слова. Один я выкручусь. В бумагах дневник Аркадия. Я его на твоём столе нашел. О гранатах оттуда узнал! Как чувствовал – добром их болтовня не кончиться. Дневник тоже сожги.

– Ладно. А кто такой Ушкин?

– Мой бывший мастер – руководитель творческого семинара. И бывший шеф. – Валерьян подумал. – Наверняка он слышал об этой истории. Думаю, к нему придут. Тогда старый либо утопит, либо вытащит. Но вытащит с выгодой для себя!

– Ты откуда знаешь?

Валерьян хмыкнул.

– Знаю! Меж нами кошка пробежала, когда я в институте работал. Потолкался я по издательствам. Принес ему рукопись. Мол, по старой памяти почитайте, посоветуйте. А потом закрутилась эта катавасия. Зайди к нему. Он мужичок авторитетный. По большому счету история эта – говно. Может, замнут. Честно говоря, очко играет. На словах мы все орлы. А как пнут – хвост меж лап! И жена с тещей напуганы. Один только обыск им нервов стоил. Соседям не объяснишь, что я не уголовник.

Валерьян кисло улыбнулся и проговорил: – Раньше, когда читал Солженицына, Домбровского или Дудинцева, думал: почему они всей страной покорно шли подыхать в лагеря? А тут понял! Это гигантская молотилка. Она и щас молотит! В любую минуту ее можно включить на все обороты. Только вякни.

– Заблеял, – грубовато приободрил Андрей.

– Ладно. Найдешь дневники – прочти. Быстрее сообразишь, что делать...

Валерьян обнял, легонько оттолкнул брата и у двери долго смотрел ему вслед.

5

В Александров Андрей приехал под вечер.

Двухэтажный дом матери в низине. Первый этаж из беленого кирпича. Рыжий пес трусовато выбрался из будки, отряхнулся и осторожно вильнул поджатым хвостом. За стеклом на подоконнике, у герани – кот в пятнистой шубе. Зевнул, оскалив острые занозы клыков, и махнул на муху лапой по шторке в пол-окна.

Андрей постучал во внутреннюю калитку между огородом и мощеным двориком. Мать вышла, шаркая калошами не по размеру. Она была в вязаной кофте и трико.

На кухне бормотала радиоточка. На столе у грязных тарелок старая газета развернута на кроссворде. Рядом очки. Пузырек корвалола.

Андрей дал матери денег. Продукты. Рассказал, как ездил к Валерьяну. Мать сказала:

– Меня к нему не пустили. Шесть часов ехала. С пересадками. В метро воздуха нет...

Помолчав, добавила: – Тут приходил один. Спрашивал работы Леры. Я на чердаке их сложила. Сказала: ничего нет.

– Мы думали, все выгребли.

– Тетя Шура говорит, сестра моя...

– Да знаю, мам!

– ...им бумаги нужны, чтоб Леру посадить. У нее сват в прокуратуре работает. Ты бы им не помогал, сынок!

Андрей не ответил.

Пужинали. Мать ушла к себе в комнатку. Андрей принес с чердака коробку рукописей и две связки книг, – от пыли свербило в горле, – и на втором этаже уселся на пол разбирать бумаги.

Среди старых фотографий, детских рисунков брата и его спортивных дневников на дне коробки он нашарил толстую тетрадь в клеенчатой обложке. Незнакомый почерк. Буквы с правым наклоном рассыпались бисером. Андрей угадал: дневник Аркадия...

Аспинин, стесняясь, словно через плечо заглядывал в чужое письмо, пробежал взглядом по диагонали пару страниц.

«Когда-то я поклялся писать здесь только то, что думаю, теми словами, какие сразу лягут на бумагу. Не зачеркивать. Теперь подбираю фразы. Любуюсь собой!

Ложь в нас. Разрастается, как болезнь. Если я не могу справиться со своей ложью, как смею требовать правды от других».

«На свой День рождения ездил в Климовск». Аспинин посчитал: в день записи Аркаше было пятнадцать. «Не хочу никого приглашать из поселка. У них одна радость – нажраться водки. Встретился с ребятами из летнего лагеря. Сергей Ерофеев, Мишка Дегтев, Стас Калик. Его дразнят калеккой. Он не обижается.

Посидели в кафе. Съели торт на четверых. Вспоминали походы, песни у костра. Хотели позвать вожатого. Звонили Сергей Петровичу. Телефон не отвечает.

Географичка вклеила четверку. Уже исправил».

«Девки в классе сказали про Наташу Самсонову: „Вот дура, постоянно с книгой!“ Оборжешься над этими мартышками!»

Между иными записями был перерыв в несколько месяцев.

«У дяди Андрея живет брат. На столе в рамке фотография тетки с вытянутым лицом и челкой, как у верблюда, и двухлетнего мальчика. Наверное, жена и сын. Книги. Станный набор. Православная библия в закладках. Библейские энциклопедии, „История древнего Рима“, православные словари, календарь еврейских праздников».

«Прочитал отрывки из повести В. А. Про детство Иисуса. Он не верит, что Христос – Бог. Точнее, слишком его очеловечил. Глупая вещь. В смысле, написано хорошо. Но это ложь! Вредная ложь!»

«Написал про повесть Патриарху. Жду ответа».

«Вчера разговаривал с Валерием Александровичем. Он работал в кабинете дяди Андрея. Спросил, действительно ли он думает так, как говорил тогда с отцом? В. А. советовал прочесть Ренана и Штрауса. Я ответил: читал. Умные глупости. Они не верят, что Иисус – Бог. Без веры можно объяснить все. Лишь веру нельзя объяснить. Либо она есть, либо ее нет!

В. А. спросил, верю ли я в Христа-человека? В историческую личность? Не знаю!

Отец не заставлял нас с Аленой ходить в церковь, молиться перед сном: дома не было по-другому. По вечерам отец просил читать вслух «акафист сладчайшему Иисусу», жития Святых. Давал читать протопопа Аввакума. «Приобщал к культуре».

В классе и во дворе мы не говорим о Боге. Им не интересно. Они никогда не спросят, когда построили нашу церковь? А ей четыреста лет! Отличники

Карпов и Самсонова прочитали Библию и Коран. Для общего развития. Говорят, язык архаичный, местами интересно. Не их вина, что они не понимают язык службы. Для них церковно-славянский или старославянский – волшебные заклинания. Если бы в церкви говорили, как в жизни, толку было бы больше.

Ирина Ивановна говорит, в школе хотели ввести урок Богословия. Но не ввели. В соседней школе есть факультатив. Я сказал В. А., что медицина, наука, музыка, архитектура важнее того, чем занимается отец. В. А. ответил, что поп-музыканты собирают стадионы. Органную музыку слушают избранные. В цирк ходить веселее, чем в церковь. Но без того и другого нельзя. Советовал почитать древнерусскую литературу. «Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Петре и Февронии», «Корсунскую легенду» и другие. Советовал больше читать русских писателей. С ним интересно».

«Встретились с Ерофеевым. Они на рынке сцепились с черножопыми. Те избили наших. Наших было трое. Сергей собрал весь район, вернулся и навалил черножопым.

Спросил, не скучно ему этим заниматься? Он говорит, мы же не едим к ним торговать и трахать их баб. А если они к нам приперлись, пусть метут улицы и озеленяют город, а не обсчитывают русских на базаре. Попробовали бы мы жить по-своему в их ауле! Что бы с нами сделали?»

«Искал продолжение повести. Нашел на файле отрывки работ дяди Валеры. Перекачал на флешку. Если сделать обращение, будет понятно, чего мы хотим!»

«В детстве к нам приходила женщина с мальчиком. Она целовала отцу руку, маму называла «матушка», заискивала. Мальчика сажали с нами обедать. Нас с Аленой заставляли с ним играть. Он стеснялся, и мать мальчика подталкивала его в спину. С ним было скучно. Он делал все, что ему скажут.

Отец при нас никогда не говорил про женщину плохо. Но мне кажется, родители не уважали ее. Думаю, женщина всем рассказывала, что дружит с батюшкой».

«В церкви молодежи мало. Иногда дети с родителями. Смотрел на Аленку. Жаль ее. В платочке. Стройненькая, как березка. Одна среди стариков.

Рано или поздно все они придут к Богу. Но пока они созреют, жизнь пройдет и зло, что они сделали уже не исправить.

Год назад Валя Осипов говорил в церкви, что Иисус – сказки. Что Коперфильда или Кошперовского две тысячи лет назад тоже приняли б за пророка. Я сказал, что в святом месте так говорить нельзя – Бог накажет. Валя перестал. А через месяц разбился на мотоцикле у кладбища. Случайность? Или Бог не простил?

Их надо силой заставлять читать Библию! Если надо, Коран! Веды! Потом, что хотят пусть читают и сравнивают. Детей силой учат музыке, вместо того чтобы они гоняли во дворе футбол. Заставляют есть кашу, а не чипсы и жвачку!

Иначе, ничего не будет!»

«Вчера ездили к благочинному на именины. Отец с ним дружит. В мощном дворе «БМВ» с мигалками. После обеда игуменья монастыря Пресвятой Богородицы Марфа рассказывала отцу, как она добивается у губернатора разрешения объявить вокруг монастыря культурно-охраняемую зону. В зону попадут десять деревень. Она сама обходит дворы и требует с жителей подношений церкви за благодать. По ее требованию в ближайшей деревне закрыли магазин, где торговали водкой, и открыли церковную лавку. У Марфы лоснится подбородок. На животе большой золоченый крест.

Наверное, именно так надо заставлять уважать церковь. Но кому эти богатства? Ему? Он и так всем владеет! Людям? Так ведь у них берут!

Дома спросил об этом отца. Ему было неловко за Марфу.

Спросил об этом Валерия Александровича. Говорит: а ты бы что сделал?

Я бы сделал, как в Евангелии. Да Марфы не позволят. В. А. засмеялся.

Если хоть один человек думает иначе, учение Иисуса невыполнимо. Надо заставить думать, как учил Иисус! В. А. ответил, если заставлять, это будет не христианство, а зло.

В чем выход?»

«Встретились с Ерофеевым. Был Никита. Менты за драку на рынке свинтили Дегтева и Калика. Менты говорят, у них приказ. Миша и Стас молчат, но там знают, кто дрался. Сергея выпустили под подписку. У него дядя прокурор. Говорит, будто «следак» давит на то, что драку затеяли наши «на национальной почве».

Я против того, чтобы подонки убивали таджикскую девочку в подворотне. Бить надо не за цвет кожи, а за то, что не принимают Православного Бога. Не хотят знать нашу культуру! Таких своих полно. Сказал об этом Сереге. Он тоже против тупой молотилки. Но проповедями, говорит, ты ничего не добьешься. Добро должно быть с кулаками. Говорю: многие про себя одобряют: «Россия для русских». Но в стране, воевавшей с фашизмом, фашизм пугает людей. А защищать Православие согласятся все. Православию тысяча лет. Веришь ты в русского Бога, или нет, – единственное, что различает друзей и врагов русского народа. Если евангельские заповеди не доходят до человека, надо заставить его уважать веру. Только так можно изменить Россию.

Почему мы не любим черножопых? В них скрытая угроза всему русскому. Иудаизм и ислам – это не столько религия, сколько культура. Иудаисты и мусульмане живут среди нас по своим обычаям и не уважают нашу культуру. Они мирятся с нашим Богом из страха. Тихо захватываю наши города, через наши кошельки. Если бы они ассимилировались в нашу культуру, мы бы их приняли, как братьев. Но сами терпимые к православию только из страха, они требуют терпимости от нас. Мы разрешаем им строить мечети и синагоги, а они нам, что разрешают? Если идти по этому пути, другие религии заполонят Россию. Нас не будет!

А Марфы лишь лобзаются на Пасху, да выбивают культурно-охраняемые зоны.

Сергей сказал, что я говорю толковые вещи».

«Говорил с Никитой и Аленой. Никита согласен: надо действовать. Надо заставить заговорить о себе. Чтобы все поняли, чего мы хотим. У иудеев были zeloty, у католиков – крестоносцы, у мусульман – ваххабиты. Почему им можно, а нам нет?

Никита – дурак, рисуется перед Аленой, но в чем-то он прав. Алена говорит, что ничего делать не надо. Отец знает, что для церкви лучше, а что – нет. Он служит

людям».

«Никита дал мне лимонку. Говорит, Ерофеев достал. У его отца в доме много конфискованного. Зачем тебе граната? – спрашиваю. А чтобы с нами считались! Менты защищают черножопых. Значит, им первым достанется. Кто не поймет, встанет в очередь. Сказал, что достанет еще. Носит ее „на всякий случай“. Алена не знает».

«Встретились с Сергеем. Он сказал, если у меня есть знакомые, которые думают так же, как я, пацаны помогут. Договорились встретиться на той неделе».

«В. А. узнал, что я напечатал в интернете его статью и обращение к президенту. Ругался. Говорил, что надо много знать, чтобы рассуждать об этом. Я ответил, когда говоришь искренне, порядок слов не имеет значения. Вы настоящие мысли выкинули в корзину, а если б не ввали себе, вас бы читали, как Пелевина».

Он резко ответил, что со мной говорить бесполезно. Я рассказал о Сергее. Они умеют бить. А если придут в церковь не как стадо, а от сердца, наши разговоры перестанут быть трепней. Вы сумеете им объяснить лучше, чем я!

В. А. просил хорошо думать, прежде чем делать, и о статье забыть».

«Поступил в институт. Я молодец!»

«...Люблю русскую культуру не в косоворотке и лаптях, а в пенсне и галстук...»

«Сегодня заговорили с В. А. о книгах, которые он советовал прочесть.

Я сказал, что думаю. Если бы Пыпин не нашел сборник со «Злочестьем», Мусин-Пушкин «Слово», Тихонравов «памятники» старообрядцев, а Курицын не передрал у Бонфини из «Венгерской хроники» о Цепеше, ничего страшного не произошло бы! Когда Грозный в переписке лаялся с Курбским, а мятежный протопоп в Пустозерске кропал свою «Книгу бесед» и «Житие», у них уже были Гомер, Сапфо, Эзоп, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Вергилий, Гораций, Данте, Петрарка, Боккаччо, Рабле, Ронсар, Сервантес, Шекспир, Мильтон. Что дало русское средневековье мировой литературе? «Слово о полку Игореве»? Знаменитый «Плач Ярославны» в сущности – тема Андромахи из Илиады. Майков

в предисловии к своему переводу увидел в «Слове» державинское изображение Екатерининских орлов, почувствовал пушкинскую стройность, сдержанность и меткость выражений, разглядел во всем этом притаившийся зародыш лучших страниц Тургенева. Где? Чему классики учились по «Слову»? От одиннадцатого до восемнадцатого века оно сохранилось в единственном экземпляре, в каком-то харатейном списке летописи! На Западе даже костры инквизиции не выжгли пространство от Платона до Вольтера. «В пыли книгохранилищ монастырских монахи соскаблиали с пергамента стихи Лукреция и Вергилия и вместо их писали на нем свои хроники и легенды». Было что соскабливать! У нас же, по Бердяеву, рабы склонили выи под ярмом поповской церкви. И полились печальные и длинные славянские тексты, хитрые умозрительные построения, болтовня о вопросах веры. Официальная, от власти литература была бездарна. В тоталитарной Московской Руси не было мысли, не было и литературы. Ибо власть святых утвердила лишь диктатуру над духом в нашей провизантийской культуре. И диктатура над духом, творчеством, мыслью и словом стали злом, ложным направлением воли к властвованию. А так порождается лишь рабство!

Лихачев утвердил «Сказание о распространении христианства на Руси». Шахматов объединил три «Начальных свода». Но Сумароков списывал «Две епistolы» из «Поэтического искусства» Буало, а не наоборот. Хемницер, Измайлов и Крылов брали за образец Лафонтена и Лессинга, а не наоборот! Новая русская литература началась в 1730 году «Ездой в остров любви», по образцу Тальмана. Тредиаковский «переложил» 143-й псалом. Ломоносов в четырехстопном «Хотине» узаконил перекрестную и парную рифму. Но учился у немца Гюнтера.

Пушкин с томом Парни подмышкой, черпал вдохновение не у Киево-Печерского чернеца, а списывал «Золотого Петушка» у Вашингтона Ирвинга. Лермонтов подражал Байрону. Толстой – тщеславный эгоцентрик! Враг любви и свободы! Мораль Толстого – это прямое отражение его интимной жизни. Когда он счастливо женат, в «Войне и мире» он воспекает семейную жизнь. Ненавидит Софью Андреевну, и в «Анне Карениной» наказывает ее за то, что та ушла от Каренина. Состарился и остыл к деревенским девкам – написал «Крейцерову сонату» и запретил половую жизнь. О «проклятых» французских поэтов, по Роллану, судил из стихотворений с 28-х страниц их книг! Набоков отбрил Достоевского в лекциях для студентов. Так что осталось от древнерусской литературы и классики? Словами Толстого о Шекспире: «одно из тех эпидемических внушений, которым всегда подвергались и подвергаются люди...»

На бумаге за столом у меня ладно получается. Говорил сбивчиво.

В. А. долго молчал. Потом спросил, к чему я завел эту «богдановщину»?

К тому, что не надо мутить простой народ. Раньше в церковно-приходских школах крестьян учили грамоте по Закону Божьему. Им хватало!

Потом извинился. Сказал, что специально провоцировал его. Знания можно использовать во благо и во вред. Вы много читали об Иисусе. А чем все кончилось? Написали о нем небылицы. Только вера помогает разобраться, где правда.

В. А. промолчал».

«Перечитал то, что написал в школе и на первом курсе. Злые, брехливые щенки! Аленка права: вера – это любовь. Детство закончилось».

«Она не любит Никиту. Она любит „его“. Никита не знает. Жалуется мне. Рехнулся на политике. Говорит, пора действовать. Чтобы о „нас“ заговорили, надо „отстреливать вождей“. Никого он отстреливать не будет – бесится от неразделенной любви».

«Она смотрела на „его“ фотографию в книжке, которую „он“ подарил отцу. Увидела меня, покраснела и бережно спрятала книжку в сумку».

«Ездили в Питер. Бельков, наконец, допер. За обедом у мастера. Алена говорила резко. Никита понес какую-то чушь. Сказал, что «всех Путиных-Медведевых пора к стенке ставить». Напомнил, мою запись в блоге «про физическое устранение политических фигур». Сказал, что он не один, кто думает так, и скоро у них будет достаточно оружия, чтобы покончить с Кремлевской мразью. Обозвал меня трусом и сказал, что я способен только трепаться! В Вологду Никита уехал один. Мы с Аленой – в Москву. В поезде она сказала, что «он» считает ее ребенком и любит жену. Сказала, если я расскажу кому-то, я ей не брат. Плачет. Родители думают – из-за Никиты.

Даже здесь не называю его имя. Боюсь грязью испачкать ее любовь».

Андрей на кухне заварил чай, вернулся в комнату и долго размышлял.

Кто хулиганил в церкви, решил Андрей, вероятно, уже знают, – записи камер наблюдения давно должны были просмотреть! – и то, что Валерьян знаком с детьми Серафима рано или поздно установят. Не торопятся «раскручивать дело», потому что не ясно, как сказал чекист, что с этой историей делать. К тому же ни хулиган, ни само дело никуда не денутся – куда спешить?

С холодком в сердце он подумал, что Валерьяна «там» могут держать неизвестно сколько.

Андрей вырвал из записей Аркадия страницу о гранатах. Дневник и черновики сложил в папку: в записях поповича, во мнении Андрея, не было ничего, кроме эмоций; в черновиках брата – зачеркивания и переносы.

Если этот хлам нужен Полукарову, решил Андрей, он отдаст бумаги. Разведчик убедится, что Валерьян отговаривал подростков от глупостей! – и его отпустят.

Было неловко перед Никитой. Но с хорошим адвокатом ему, может, ничего не дадут! – подумал Андрей. Главное, чтобы парень не болтал лишнего.

Андрей пытался успокоить совесть, в глубине себя, зная, что боится за Валерьяна, больше чем за детей Серафима.

О фотографии в книжке и, кто – этот «он», Аспинин не понял.

Из коробки Андрей выудил толстую тетрадь с загнутыми уголками – дневник брата, – и отложил: глаза слипались от сна.

Назавтра мать продуло. Весь вечер перед отъездом Андрей готовил ужин и отпаивал Галину Семеновну чаями и настойками. Было не до чтения.

Наутро он отправился в Москву.

В Москве Аспинин был за полдень. Охранник, – в окно сторожки блестела форменная пуговица, – спросил: «В книжный?» Аспинин утвердительно промычал, и прошел через турникет. Справа завиднелась вывеска книжной лавки.

Аспинин расспросил у заочников, по тесным коридорам бывших хозслужб усадьбы поднялся на второй этаж и вошел в солнечную комнату.

У стола просматривала бумаги ахматовского типа женщина, лет пятидесяти, рослая, худощавая, с каре каштанового цвета, и с ровно подстриженной челкой до бровей.

Они поздоровались.

– Как же вы похожи с Валерой! Как он... там? – у женщины оказался тихий голос, с примесью грудного шепота, хотя она говорила вслух.

– Прислал за помощью. Вы уже знаете?

– Да. К нам приходили. Но здесь только личные дела студентов. Сейчас обед. Все в столовой. Попьемте чаю? Свежий.

– С удовольствием.

Назарова повела Аспинина в смежную комнату. Походка у декана была мягкая, неслышная, будто кошачий шаг. Они присели в низкие скрипучие кресла.

В закутке на десертном столике под рукавицей млел заварной чайник из фарфора.

Назарова разлила заварку и добавила кипятка. Слушая Андрея, она тихонько вращала чашку в пальцах.

– То, о чем говорит Валера с ваших слов, очень личное. И давно написано другими.

– Я в этом ничего не понимаю. А что Ушкин за человек?

– Не думаю, что он поможет. Свой нашумевший «Престижиджитатор» он списывал с себя...

– Не читал.

– Он описывает бездарного завистника, который расправляется со своими даровитыми учениками. Кому-то такая откровенность нравится. Принято считать, что автор это не его герой...

Назарова бесшумно положила на блюдце ложечку, оправила розовый свитер ручной вязки и янтарные бусы, и подошла к окну, ржавому от уличной копоти. Через дорогу экспрессионистскими мазками мутнел бульвар.

– Подойдите. – Андрей подошел. – Видите нищего в стареньком пальтишке? Я специально его высматривала.

На аллее бородатый бродяга кланчил у прохожего мелочь.

– Это наш бывший студент! Он приходит сюда каждый день. Ушкин приказал охране не пускать его во двор института. Но мы выносим ему поесть. Денег не даем: пропьет. – Назарова помолчала. – Талантливый был парень. Это он придумал Ушкину прозвище, простите, обрезанный Пушкин. Иначе как Иудушка Головлев он его не называл.

– Почему?

Они вернулись в закуток.

– Ректор предложил ему стать старостой курса. Рассказывать о недовольных. Якобы для того, чтобы вместе работать над ошибками. Парень отказался. Он дружил с кафедрой иностранных языков. Свободно говорил на немецком, английском, французском. Там открыто презирали Ушкина. Тот поделаться с ними ничего не мог: мужа преподавателей – дипломаты и разведчики. Они советовали женам сторониться нового ректора. – Назарова пригубила чай. – А потом этот студент представил на кафедру творчества повесть, как проект дипломной работы. Ушкин по совместительству руководит и там. Повесть к защите не допустили. Парень попал в психушку. Затем его перевели на заочку.

Он бросил учебу и запил. Рукопись и черновики исчезли. В усадьбе много легенд о неудавшихся судьбах. Но эту повесть я читала.

– И что в ней?

– Некий литератор предлагал надзирающим органам шпионить за коллегами, взамен на литературную карьеру. В тексте, со слов студента, назывались подлинные имена жертв, кличка провокатора. Конечно, разоблачениями давно никого не удивишь. А шестидесятые годы это не тридцатые. Тем не менее...

– Словом, не поможет?

– Трудно сказать. Господа из известного ведомства были у него. А Валера до сих пор там.

– Ваш ректор не всемогущ...

– А почему они так вцепились в эту историю и, причем тут повесть?

Андрей пожал плечами, подумал и рассказал о детях священника и прокламациях.

– Возможно, они хотят связать все в организованную группу, – сказал он.

– В нашей стране уже ничему не удивляешься.

– Ну, хорошо! Если не Ушкин, кто из влиятельных писателей может заступиться за брата? Есть же у вас какая-то корпоративная солидарность!

– На литературу сейчас почти не обращают внимания. Творческие союзы как серьезные общественные институты себя изжили. Их руководители заняты коммерцией. Отдельные литераторы имеют общественный вес. Но, как правило, они заняты собственной литературной судьбой. А на Валере имя не сделаешь.

В коридоре слышались голоса. Обед заканчивался.

– Знаете что? Если вам удастся найти что-нибудь стоящее из работ Валеры, покажите мне. Я отдам это на кафедру новейшей литературы. Они составят свое, положительное мнение. Это, конечно, не их профиль. Но, в конце концов, ваш брат защищался у них. И еще. Вот вам телефоны моих знакомых. – Назарова шариковой ручкой набросала из записной книжки на листок номера и фамилии. – Поговорите с ними. Я их предупрежу.

Андрей пробежал незнакомые ему имена в списке, поблагодарил, и они простились.

Ушкина в ректорате не оказалось. Аспинин оставил секретарю визитку и ушел.

7

По мобильнику Андрей набрал номер одной из редакций, указанных братом. Никто не ответил. Тогда он отправился пешком по бульварному кольцу к Арбату, надеясь, что за час прогулки по адресу кто-нибудь объявится.

У памятника Есенину на аллее Аспинин заметил давешнего бродягу. Тот на скамейке скрестил вытянутые ноги, распыл руки по спинке, зажмурился и подставил солнцу кадык, заросший рыжей шерстью. Рядом с бродягой остановились два постовых срочника в мешковатой форме, с планшетами и дубинками, висевшими, как хвосты. Старший наряда пнул бомжа в драный башмак. Бродяга неохотно подтянул колени.

– Эй, парни! – окликнул Андрей патрульных. Те обернулись. – Это мой знакомый...

Аспинин сунул солдатам по сотне. Те подозрительно оглядели его костюм. Еще не приученные брать, спрятали деньги и, тихо переговариваясь, побрели восвояси.

– Зря дали! – сказал мужичок. – Салаги. И так бы отстали. Но все равно, спасибо.

Он снова развалился на скамейке. Ему было лет тридцать пять. Прямые с проседью и сальные волосы завивались и закрывали уши. Мефистофелевские брови и некое подобие клиновидной, неухоженной бородки придавало его лицу

хищное выражение. Под распахнутым пальто вельветовая рубашка навывпуск и вельветовые штаны сильно износились. От бомжа разило потом.

Аспинин присел с краю и снова позвонил в редакцию. Телефон молчал.

Мужчина приоткрыл рыжие, как у рыси, глаза.

– Мы знакомы? – в его сипловатом голосе прозвучало недовольство.

– Нет. Мне о вас только что рассказала Назарова.

– А-а, – равнодушно протянул бродяга. – Хорошая женщина. Увидите, кланяйтесь.

– Пиво будете?

– Угостите, буду! – не меняя позы, ответил бомж. – А еще водки и поесть.

Минут через десять он ловко, нетерпеливыми движениями содрал крышку, махом выпил «мерзавчик», затем крепким белым клыком вскрыл бутылку пива, сделал несколько больших глотков и покосился на Аспинина. Бродяга заметно приободрился.

– Вот колбаса, хлеб и плавленый сыр. – Андрей подвинул бомжу пакет с продуктами.

Бродяга еще глотнул, и, облизнув губы, спросил:

– Так, что вам нужно? Вы же не зря подсели. Заочник? – Он мотнул головой в сторону института. – Хотя, нет. Такой респектабельный господин! – бродяга обежал Андрея насмешливым взглядом.

– Просто так подсел.

– А! Пожалели! – В голосе бродяги послышалась ирония. – А может, я специально мозолю глаза господам гуляющим, чтобы знали, как выглядит ныне русская

культура.

– Не врите. Русская культура себя уважает.

Бомж, прищурившись, с любопытством посмотрел на Аспинина.

– Значит, не верите в Мармеладовых и в горьковских босяков?

– Не верю.

– И я не верю. А во что вы верите?

– Вам хочется знать, во что я верю, или, что я думаю именно о вас?

– Как вы можете обо мне что-то думать, если вы меня не знаете?

– Из рассказа вашего декана немного знаю. Потом, ассоциации с братом. – Бродяга прищурился. – Вам действительно любопытно? Что же! Очевидно, науки давались вам легко. Вы выбрали то, что получалось у вас лучше всего – литературу. В молодости вам нравилось апостольствовать в хмельной компании единомышленников. Но первая же неудача опрокинула вас. Вы поняли, что проще не подниматься, называя это внутренней свободой, чем вопреки всему оставаться собой. Как это каждый день делают миллионы обывателей. Вы приходите сюда из тщеславия: надеетесь, что в усадьбе еще помнят вас. Вздыхают: «а ведь был талант!» В глубине себя знаете: лень уничтожила в вас последний стыд перед теми, кто вас любит: перед родителями, друзьями. Вы же любите лишь свою жалость к себе. Чем все закончится? Кто знает? Может, вы замерзнете пьяным под забором. А может, доживете до глубоких седин, злобненький, завистливый, никому не нужный старикашка.

Бомж утвердительно кивнул:

– Замечательно!

– Обиделись?

– На что? Свою судьбу я не считаю хуже, например, вашей. Если, конечно, вы живете так, как вам нравится. Я бы еще добавил к вашим словам, что в большинстве своем писатели – это нищие, озлобленные люди. В Москве перед ними проплывает роскошная жизнь. Приспособиться к ней они не умеют. И придумали себе, что живут тем, что якобы хранят духовные и культурные ценности народа. А народу наплевать на них, и на их духовные ценности. Провинциальные же графоманы верят, что в столице их ждет литературная известность, как, например, Шукшина. И к этой славе они делают первый шаг, например, в усадьбе или в редакциях толстых журналов. Они думают, что бегут от мерзостей быта и ограниченных обывателей. Тогда как именно эти обыватели бескорыстно холят «непонятых гениев». А гении в тридцать лет опьянены своим даром. В пятьдесят узнают, что их талант – их же выдумка, и жизнь потрачена на лень и «обдумывание» ненаписанных вещей. Если им достанет смелости, ужаснутся, что они мучили себя и близких, но остаток дней все равно будут обманываться: жизнь прожита не зря! Но ничего уж не поправить! О себе. Когда мне было одиннадцать лет, отец на моих глазах на рыбалке попал под винт моторной лодки. Мать умерла семь лет назад. Пока я торчал в Москве, бомжи сожгли мой дом на Оке. У сестры внуки – ей не до меня. Так что никого я не мучаю. И жить мне нигде! Можно, я поем? Вы не начинаете. А есть без вас неудобно...

– Да, конечно, ешьте! – Аспинин сконфузился.

Бродяга развернул пакет, отломил кусочек бородинского хлеба и немного – от круга одесской колбасы, и принялся аккуратно жевать. Андрей отвернулся, чтобы не смущать его. Бродяга отломил еще немного, запил пивом и отодвинул пакет. Хотя по его голодным глазам Андрею показалось: он готов проглотить пищу вместе с бумагой.

– Забирайте. Это все вам! – сказал Аспинин.

Бродяга поблагодарил. Отломил кусок хлеба, раскрошил его и бросил сизому голубю, ходившему поодаль, подергивая головой. Со всех сторон к угощению слетелись его собратья, серая ворона и воробьи.

– А почему Галина Александровна рассказала обо мне?

– Я просил помочь брату. Разговор зашел о вас и об Ушкине.

Бродяга внимательнее посмотрел на Аспинина.

– Я вспомнил, где вас видел. Вернее, не вас. Ваш брат заведовал общагой? Мир тесен. Давным-давно один семестр я работал у него сантехником.

Бродяга крупными глотками допил пиво и запихнул бутылку в карман.

Понимая, что поступает подло, спаивая алкоголика, Аспинин, чтоб тот не ушел сразу, выставил из пакета вторую бутылку. Бомж поддел клыком крышку и отхлебнул.

– Ушкин это пустое место! – проговорил он как о предмете беседы, обоим ясном. – Ордена, звания. Когда я разобрался, то понял, что писать не о ком. Ну, предатель! Так все предают. Вольно или нет. Но у этого пустого места есть связи. Прежде у студентов усадьбы воспитывали внутреннюю культуру и неприятие фальши в искусстве слова. Может, поэтому многие не раскрылись: их не научили лгать. Ушкин чужой здесь. Ему не хватает внутренней культуры. Он боится тех, кого считает талантливее себя. Старается их приблизить, чтобы потом раздавить. Парадокс: люди выбирают в свои вожди по своему интеллекту. Ефрейторы – Гитлер, семинаристы – Сталин, пехотные офицеры – Франко. Вы можете представить Эйнштейна канцлером Германии? Или Хемингуэя президентом Америки? И я – не могу. Наши институтские умники с этим Иудушкой Головлевым еще нахлебаются. А чем вас не устраивает судьба брата? – без перехода спросил бродяга.

– Он в некотором смысле оказался в вашей ситуации. В психушке.

Бродяга посмотрел на Аспинина, прищурившись и словно свысока.

– Понимаю, – сказал он и отглотнул. – Не знаю, то ли вы ждете от меня. Чего-то вы не договариваете. Во всяком случае, судя по интонации голоса, ваш брат не в такой уж жопе. Не хотите, не рассказывайте – ваше дело. Там меня не пытали. Если не считать пыткой галоперидол. Его дают месяц, а затем смотрят – помог ли? Каждое утро после него просыпаешься и думаешь: сошел с ума или нет? Мысленно себя ощупываешь. Выйду ли? Ведь срока нет. Там, как в тюрьме, можно писать письма на волю. Так я строчки из себя выдавить не мог: кисель в башке. А у одного мужика, сам видел, от этой дряни началась болезнь Паркинсона. Что говорить! Ныне все знают, что при совке всех жалобщиков

увозили в Казань. А там уже! Так что мне повезло – для них я оказался мелкая сошка. Но уверен: физическая боль или лекарства заставят любого отказаться от себя. А захотите ли вы вернуть себя себе, когда все закончится? И надо ли вам это? Вот вопрос! Я говорю лишь о себе. Так вот, там я узнал, что не способен жертвовать за творчество. Я сочинял из тщеславия, а не потому, что не мог не писать. Понимаете? И страдать за идею не способен. Большинство артистов, художников, писателей, – словом, людей творческих, – занимаются своим делом из тщеславия. Либо из-за денег. А настоящее творчество – это что-то другое. Когда никому не надо, а ты без этого – мертвец. Я прихожу сюда, вы правы, за жалостью. Высокая ли тут философия или трезвая оценка своих сил? Точнее – бессилия! Страх или желание просто радоваться каждому дню на этой скамейке? Не знаю! Мне незачем было возвращать себя себе. А вашего брата я близко не знал.

Он подождал, не спросит ли Аспинин еще чего-нибудь. Затем, сопя, свернул и уложил пакет с объедками в карман. Движения его стали деревянными. На солнцепеке бродяга опьянел мгновенно, словно по команде.

– Вот я тебя! – вдруг крикнул бомж мальчишке лет пяти: тот запустил камешком в голубей, клевавших крошки. Бабушка мальчика опасливо покосилась на двоих, и, выговаривая внуку, увела его. – В каком-то апокрифе голуби мешали страже заколачивать гвозди на руках Спасителя. А воробьи – наоборот. За это господь их стреножил...

– Хотите нормально поесть и выспаться? – спросил Андрей.

Бродяга забормотал: «...исключено...» – и благостно раскинул руки. Андрей потряс его за рукав. Бродяга разлепил сонные веки, попытался освободиться и заснул.

По аллее возвращался милицейский патруль. Аспинин позвонил в редакцию. Телефон молчал. Тогда Андрей подхватил замычавшего бродягу подмышки и повел.

Таксист брезгливо спросил: «Не наблюдает?» – дорогой то и дело косился в зеркало заднего вида на храпевшего баском на заднем сидении бомжа, и подставлял нос сквозняку из открытого окна.

Игорь Веденеев, – так бродяга назвался, – спал, не раздеваясь, в соседней комнате. Аспинин распахнул в кабинете окно, проветривая дом от вони, и сел за письма брата, – точнее за отрывки, – чтобы не всучить разведчику, какой-нибудь компромат на Валерьяна.

«Странный тут народ. Студентка попросила, чтобы я накормил ее ужином. Предложил минтай и кашу. Поели молча. Не „доносите“, говорит, Ушкину, а то выгонит на лето из общаги. Ехать домой не на что. Теперь со мной не здороваются. (?)».

«Живу на седьмом этаже. Он считается «престижным». Хотя, здесь, как во всей общаге, такие же тараканы, засранные кухни, и вечный огонь газовых плит. В клозете ни один бачок не смывает. Разница лишь в том, как мне объяснили, что «взэлкашники» по одному в комнате бухают, а не по двое, как студенты.

В подвале одна отремонтированная душевая и одна – не отремонтированная. Мужчины и женщины меняются ими через день. Заочники все барашки сперли. Откручиваю воду плоскогубцами.

В подвале гейзеры и водопады. У мусоропроводов крысы, как в фильме ужасов. В штате студенты и окрестные алкоголички. Других не нанять, зарплата маленькая».

«Денег не хватает. С хохлами рабочими, что у нас живут, ходил на шабашку».

«Астафьев вспоминает в «Царь-рыбе» про наш Вавилон, мол, «как никак Высшие литературные курсы в Москве окончил,...хватанул этикету...»

«...думал: у писак обострено сострадание. Студенты, городские, лощенные. А в быту скоты. Как в театре: свет рампы для зрителей, а за сценой – тетя Дуся с грязной тряпкой».

«Тупая, механическая работа! Уехать бы! Да некуда! Там нет работы. Зову Ирину. Не едет. Я присылаю деньги. Ей так удобно.

Знал бы, не брался, брат! Денег нет, семья распадается, писать некогда. Это мучает.

Из моего окна над пирамидальными тополями видна Останкинская башня. Днем в оправе изумрудной июньской зелени отсвечивают солнце крытые жестью крыши, а напротив брошенной посреди многоэтажек подковы «Космоса» застряла зазубрина стального цвета: монумент покорителям орбит.

Ночью башня торчит над крышами, как черный шип в гранатовых сережках фонарей под белым перекрестьем секир-прожекторов. Распарывает брюхо тяжелым тучам. А внизу черный город в чешуе огней. В его потрохах махонькие люди.

Проснулся. Один. Мама, ты – в другой жизни. Зачем я здесь? Вокруг говоруны и пьяницы. Болтают о Герцене и Киреевском. Восторгаются Алешей Горшком и «разгадывают» философскую антитезу старца Зосимы и Ферапонта. Таскают в редакции чушь. В их книгах нет главного для меня: в них нет ответа, от чего пропивший мозги бомж и вселенский мудрец находят мужество жить, зная, что они смертны!»

Андрею стало грустно: он ничего не знал об этой стороне жизни Валерьяна.

В соседней комнате слышался скрип диванных пружин. В тени у стола Андрей различил всклокоченный силуэт Веденеева и отложил письма.

– Послушайте, у вас нет выпить? Как скверно! Зачем же вы меня притащили? – с досадой проговорил бродяга, тоскливо посмотрел в черное окно и поскреб грудь. – У вас хороший дом. Вы кем работаете? Внизу кубки, награды...

Аспинин сказал.

– А! Значит хороший тренер, раз зовут. Я тоже за границей был. По обмену. В бывших соцстранах нас не любят. Вот если б мы их освободили, как болгар от турок, и ушли – другое дело. Приехал как-то во Львов. В кафе эти сволочи рожи воротят: мол, не понимаем! Я им по-английски. Они глазами хлоп, хлоп. Тут, точно не понимают. Зовите, говорю, главного менеджера. Привели дуру сопливаю. Говорю ей: ты меня знаешь? И я тебя – нет. Ты видела, чтобы я твоих лесных братьев гонял? Так, кого хрена? В Европу рветесь? Пока вы будете

тявкать из подворотни на прошлое – подворотней останетесь! Обслужили по первому разряду. Как скверно-то! А? – он снова посмотрел на Аспинина.

Андрей сходил на кухню и вернулся со стаканом водки.

– Больше не дам. В ванной свежее полотенце и одежда. Переоденьтесь, если хотите.

Веденеев повертел головой, куда б присесть? – придвинул стул, выпил полстакана и с удовольствием облизнул губы.

– С Ушкиным у него были сложные отношения. – Андрей уже начал привыкать к неожиданным переходам бродяги. – Я тогда как раз собирал материалы о старике. А ваш брат был вхож к нему без доклада. Некоторые даже считали его стукачом Ушкина...

– Зачем вы мне это говорите?

– Я думал, вас интересует дед. На счет стукачка – чушь. Слишком они разные люди. А если Ушкин упек вашего брата, как он упек меня, не суйтесь к нему.

– С чего вы решили, что он его упек?

– Вы же сами сказали: ваш брат в моей ситуации.

– Я имел ввиду другое.

– Ну, все равно. Ушкин еще тот фрукт. Он не терпит талантливых конкурентов рядом. Хочет, чтобы его считали простачком. А такие простачки – самая мразь. Бьют исподтишка. Больно бьют. Ваш брат раскусил Ушкина, и в каком-то смысле использовал. Я имею виду не только материальную сторону. Хотя и это тоже. Какая зарплата у заведующего? А у вашего брата семья, кажется. Что-то Ушкин платил ему с аренды помещений через черную кассу, как всем вассалам. Что-то ваш брат финтил с начальником паспортного стола: подсеял приезжих. Помню даже, – Веденеев хмыкнул, – в апреле, когда почки на деревьях набухли, по его нарядам я, типа, с крыш сосульки сбивал. Но эти делишки мешали ему. Если бы его не уволили, он бы сам ушел. Почему? – Бродяга развалился на стуле

и отхлебнул из стакана. – Он не чиновник. А вот Ушкин – чиновник. Сами подумайте: все начинания в этой стране от чиновников. Особенно после Петра. От чиновников высшего ранга. Аракчеев, Сперанский, Столыпин. Первый величайший роман в русской литературе «Мертвые души» о чиновнике. А почему? Потому что чиновники всегда были для России пресловутым средним классом. Неповоротливая, коррумпированная, костная система, но именно поэтому крепкий скелет государства. При любом режиме. Эту армию чиновников готовили сначала гимназии и университеты. Затем наши техникумы и вузы. Большинство из них получало ровно столько образования, чтобы здраво оценить, что лучше для страны. И медленно, но точно выполнять указания сверху, если это отвечало интересам системы. И всегда высокообразованные государственники из этой среды выводили страну на мировой уровень политической и экономической мощи. На этом Россия испокон стоит. Из чиновников вышли выдающиеся литераторы. Антиох Кантемир – посланник в Англии. Сумароков – директор первого русского государственного театра. Державин – губернатор Олонецкий и Тамбовский. Чулков из солдатских детей дослужился до чина придворного квартирмейстера. Ломоносов, сын помора, – академик. Незаконнорожденный Жуковский воспитывал царевича. Тютчев – тайный советник. Салтыков-Щедрин – вице-губернатор в Рязани и Твери, председатель казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. Пушкин и тот камер-юнкер. О ком Лермонтов писал «мундиры голубые»? А «разночинная» литература! В новое время Иннокентий Анненский – директор Царскосельский гимназии. Платонов – член ЦК Союза сельского хозяйства. Булгаков – режиссер МХАТа. Приставкин – в комитете по помилованиям при президенте. Айтматов – посол в Люксембурге. Они добились чинов талантом. Работа им давала материал для размышлений и обобщений.

– Вы, прямо, поэт! – Андрей улыбнулся.

– Беда нынешней России: нет у нас интеллигентных управленцев. Настоящего интеллигента нельзя купить. А значит нельзя разрушить социальные институты страны: науку, здравоохранение, образование, армию.

– Теперь в правительстве все с научными степенями, иностранные языки знают.

– Образованность это суррогат интеллигентности, так же, как начитанность – суррогат образованности. – Веденеев бережно грел в руке последний глоток. – Ушкину тогда был седьмой десяток. В хрестоматию по русской литературе он не попал. А тут – счастливый лотерейный билет: пост ректора. Дед потом

накатал об этом брошюру с длиннющим аграрным названием: «Отступление от романа, или в сезон засолки патиссонов. Педагогические этюды и размышления об искусстве стать писателем». Что-то такое. И вывел свою карьерную удачу как результат борьбы за власть. Все институтские Башмачкины у него выросли в матерых деяг черной кружковщины. Маэстро, кажется, уже тогда писал «Смерть титана», и его заносило. Дедушка долго метался от письменного стола к креслу чинуши. Те, кто его выбирали, думали: временно. Но тот дал зарплаты рядовым преподам, приручил зубров. Именно тогда, когда все начиналось, как везде в стране, именно тогда надо было быть незаменимым для Ушкина. Ведь усадьба – это коммерческое предприятие, которое надо лишь раскрутить. Тут бы тебе диссертации, публикации, загранкомандировочки, премии. А ваш брат плевал на это. Впрочем, вы лучше знаете его Китайские тени. Это так одни мемуары называются.

– Он что-то рассказывал.

Веденеев допил водку и с сожалением поставил стакан.

– Ушкина ваш брат никак не устраивал!

– Почему?

– Потому что для настоящего чиновника чувство долга важнее человеческих отношений!

– А как же перечисленные вами творческие чины?

– А кто сказал, что они нравственные люди? Писать о высоком и быть нравственным не одно и то же. Например, Руссо или Толстой! Поэтому Ушкин получал ордена и звания, а ваш брат мучился, если ему приказывали выселить зажившегося в общежитии писателя.

– Но выселял?

– Иные при нем нелегально жили до его увольнения. И потом, это не богадельня, и ваш брат все же администратор, а не нянька в яслях, чтобы в «белые одежды» играть. Над ним тоже начальство. Было. Ушкин странная фигура, – задумчиво

сказал бродяга. – Мне кажется – он тихий шизофреник. Он играет в свою жизнь. А если у него отнять его игрушку, он окончательно свихнется. Послушайте, может я поживу у вас? Много места не займу. Уголок под лестницей. За садом присмотрю. Надоем, выгоните! Обещаю – не бухать!

– Да живите.

– Давно думал куда-то приткнуться. Зима скоро! – Бродяга заискивающе захихикал. – Вы, может, мой счастливый билет! Помните, как у Булгакова Шарик? Свезло мне, свезло...

На первом этаже стукнула входная дверь.

– Андрюха! Чем у тебя так воняет? – на лестнице недовольно пробормотал Серафим. – Крыса что ли под полом сдохла?

Дуга света легла на джинсы и большие кисти рук Каланчева. Поп прищурился и насторожено кивнул Веденееву. Андрей представил обоих. Спросил об Аркадии.

– Вчера они с Ленкой к деду уехали. Пошли пить чай. Ну, как знаешь!

Чихая, Серафим торопливо ушел.

– Из-за меня остались? – спросил бродяга, когда шаги стихли.

– Нет. Пора спать! – Андрей встал из-за стола. – Еда в холодильнике. Водку не ищите...

...В пять часов пропищал будильник – так начинался день Александра Сергеевича.

Ушкин подолгу мерил неторопливыми шагами персидский ковер; невидящим взором смотрел на вздернутые носки кожаных шлепанцев на ногах; останавливался у стремянки, увенчанной стареньким «Вундервудом», и делал несколько клевков пальцами по овальным и, местами, стертым клавишам.

Жена была на даче. Ее кровать пустовала в соседней комнате за книжным шкафом, перегораживающим комнату поперек. Александр Сергеевич заглядывал туда по привычке. На пианино выстроились в ряд куклы, бронзовые и деревянные фигурки, которые жена напривозила со всего мира, пока не заболела. Впереди за пианино, справа – старый трельяж, весь засыпанный коробочками с лекарствами и пустыми облатками: она лекарственно зависима. У жены было все свое: свои любимые книги, видеокассеты.

Ушкин приноровился к хронической болезни супруги. Сегодня высвободились часы для литературной работы. Но ласковое солнечное утро, сулившее нежданные творческие находки, потихоньку тускнело за ржавчиной начинавшегося пекла, не свойственного Москве в конце августа. Мысли костенели.

Ушкин примерил к себе взгляд незримого почитателя – «Пушкин и Набоков творили тоже стоя» – и получился ладный историко-литературный эскиз.

Ушкин не любил дни-пустоты. Он принимал их как составную писательства: простои копили творческую ярость, и вынужденную ленцу позже сметало упоение созиданием. Но сегодня все было иначе: вдохновение истаивало, как фимиам.

Александр Сергеевич выдвинул ящик секретера под нужной литерой и перебрал чужие высказывания на пожелтевших карточках. Ушкин вдруг вспомнил свою давнюю мысль, написанную где-то: то, что есть у них, у его предшественников, уже никогда его не будет. Ушкин неохотно признавался себе, что метод его работы не требовал серьезных литературных изысканий. Александр Сергеевич довольствовался университетским филологическим курсом, за сорок лет где-то подзабытым, где-то расширенным поверхностным чтением. Произведения сотен двух всемирно известных авторов, полсотни запомнившихся по случаю

афоризмов. Александр Сергеевич чаще помалкивал в беседах с учеными соратниками, чтобы не оговориться. В конце концов, по мнению Ушкина, эрудиция определяла мастерство писателя не в первую очередь. И это давало ему маленькое, но превосходство в собственных глазах перед коллегами. Бессистемное собирательство афоризмов создавало иллюзию кропотливой работы над материалом. Но когда на семинаре он зачитывал выбранные откровения студентам, пытаясь учительством вытравить из себя зависть, то замечал поскукневшие глаза учеников.

Александр Сергеевич наугад выудил со стеллажей том и полистал его. (Вдоль всего коридора шесть метров книжных, закрытых стеклянными панелями стеллажей.) Это оказался его первый роман, самый на шумевший, выстраданный и, как тогда ему казалось, отточенный до буковки за годы ожидания публикации в «Новом мире». Роман, давший ему жизнь в большой литературе. В нем он «сымитировал» тип посредственного художника: саморазоблачениями надеялся избежать участи своего героя.

Перечитывая первые страницы, Ушкин с ревностью вспоминал мгновения замысла и воплощения, вобравшие его внутреннюю силу, и задавался вопросом: как он умудрился это написать?

Он многого достиг со своими средними способностями! Заявил о себе как писатель поздно, когда ему было за сорок. Заявил брошюрой о Ленине. Его ругали завистливые собраты, но хвалила пресса, о нем выходили монографии. В писательском деле, как в выезде, где несколько лет приходится работать на судей, надо приучать к своему стилю, к кругу интересов. Надо действовать потихоньку, не торопясь, имея ввиду, что впереди жизнь...

Но теперь все эти ухищрения не приносили удовлетворения. В шелухе, осыпавшей его жизнь, не было главного – творчества, делавшего осмысленным его существование!

Ручеек раздумий тихо закружился в омутке хлопот ректора: вчерашние недоделки вперемешку с обязательствами. В половине двенадцатого, рассчитывал он, надо быть в министерстве, потом он поедет в союз писателей, в четыре свидание с министром культуры, который хочет предложить Ушкину что-то неожиданное, в половине шестого он вернется – ах, какой плотный день, представлялось ему, думают его сотрудники! – минут двадцать будет подписывать банковские поручения главбуху...

Сознание собственной значимости распирало старческую грудку.

Писатель – универсальная профессия. Он еще и интриган и дипломат и торговец.

Мысли расплзались, как потревоженные слизни. Хватившись, Ушкин было решительно направился к телефону звонить в приемную: предупредить, что задержится. Или вовсе не приедет. На полпути вспомнил впустую растраченное утро и признался себе, что ничего сегодня не напишет! Так же, как не написал вчера и неделю назад...

Дорогой в метро с лица Ушкина не сходила кислая мина. Тут же он подумал: надо хорошенько запомнить эти сомнения, чтобы занести их в дневник писателя.

Первому влетело дворнику, пожилому художнику с усами под Дали: «Дали» заметал редкие желтые листья не в корзину, а на газон. С уборщицей, мадам лет пятидесяти, в парике и с редкими черными бакенбардами, ругались до вздутых вен на шеях. За трехминутное опоздание получила нагоняй секретарь. Неуловимых бездельников из хозчасти Ушкин подстерегал у входа...

К обеду он выдохся и устыдился своей мелочности и занудства. Злость затаилась внутри, и это удивило Ушкина. Обычно он начинал токовать на подчиненных, внутри оставаясь холодным. И вдруг рождался крик. Но это была инсценировка рассудка.

Ушкин прошел по узкому коридору мимо застекленного стенда. На стенде за навесным замочком выставлялись литературные работы студентов и преподавателей. Теперь – чаще фотографии ректора со знаменитостями.

Крошечный кабинет ректора напоминал цитадель, где даже тишина казалась ветхой. Массивный стол был завален папками, документами, стопками писчей бумаги, заставлен канцелярскими штучками, собирателем коих Ушкин слыл.

За рабочим креслом с винтовым вращением кнопками был приколот годовой учебный план, выполненный на ватмане цветными фломастерами. Слева в углу знамя из красного бархата с желтой окантовкой и металлическим наконечником на древке. Два серванта с книгами, подписанными литераторами, равными во мнении Ушкина ему по таланту и популярности, справочники. Особнячком –

главные работы в его творчестве: «Дорога в Смольный: июль – октябрь 1917. Страницы великой жизни», «Константин Петрович» и «Смерть титана. В. И. Ленин». Между стеклами серванта фотографии Ушкина со знаменитыми писателями, политиками и рядовыми коллегами. «Самые достоверные – шоферские легенды» – вспомнил он свою цитату.

Справа от двери – вешалка треног. Слева – старая видеодвойка и видеокассеты на столике: Ушкин просматривал курсы английского при усадьбе, чтобы без запинки, как он заявил на страницах столичной газеты, произнести Нобелевскую речь. Но ни одного иностранного языка он не выучил. Здесь же на тумбе небольшой стальной сейф. Ключи от сейфа ректор не отдавал никому, даже в дни недомоганий дома или в многомесячные заграничные командировки.

Откинувшись в кресле за столом, Ушкин апатично поглядывал за окно, где трехчасовой августовский зной плавил улицу. Раздражение улеглось. Но служащие в хозяйственном корпусе между собой на вопрос, «как он сегодня?» – хихикали: «Злой!»

...Проректор по социальным вопросам, «бывшая комсомольская сошка» лет сорока, разложил документы и рассказывал о страховании усадьбы. Говорил о переводе сотрудников «на контракт», чтоб исключить судебные иски недовольных, об увеличении платы для арендаторов, о прибыли гостиницы, от всевозможных курсов, кафе, обучения иностранцев. Деньги прогонялась без налога через страховую компанию. Компания получала процент от оборота, – ее возглавлял брат «комсомольца», – а «отбитые» деньги шли на валютный счет в Краснопресненском банке и на доплаты верным соратникам. Он рассказывал о том, что так или иначе, делали все ВУЗы.

«Комсомолец» про себя называл ректора «клоуном» и знал о нем, что знали в усадьбе: Ушкин рассорил всех в редакции радио, которую возглавлял, оказался в усадьбе случайно, – какой-то писатель отказался от семинара в его пользу, – на выборы ректора его выдвинул заведующий кафедрой новейшей литературы, и Ушкина на голосование буквально тащили из кустов – тот кокетничал и боялся, – а потом принялся топтать прежних соратников.

– Помнишь, у нас Аспинин работал? – вдруг спросил «комсомолец» и рассказал о скандале в храме. – В интернете об этом пишут.

«Комсомольца» сменил министр культуры. Чиновник с водянистыми глазами выторговывал семинар критики взамен на четыре профессорские единицы для усадьбы. Ушкин слушал, отвечал и думал об Аспинине...

Месяц назад Валерий приходил к Ушкину. Ректор по инерции махнул ему на стул. Хватился, хотел обнять: обескуражить показным радушием. Но тот уже сел.

Валерий заматерел. Те же широкие плечи, настороженный взгляд.

...Много лет назад студентом он оставил Ушкину рукопись. Ректор прочел. Сначала Александра Сергеевича раздражали бесконечные грамматические ошибки парня. Но годы педагогической практики научили его опускать мелочи. Затем Ушкин испытал облегчение: студент справился с текстом, заставил его, читателя, сопереживать героям повести. И, наконец, он почувствовал ревность.

Ушкин посмеялся бы, если б переложил это ощущение в слова. Его сочинения ждали своего читателя в любой поселковой библиотеке. Ему писали в издательства и домой. А сотни таких вот ребят не оставят в литературе никакой памяти. Но тогда на пороге седьмого десятка Ушкин ощутил разницу между ним и этим тридцатилетним человеком. Студент еще напишет главную книгу своей жизни, на что у ректора уже нет времени. Состариться для писателя значит – исписаться. Ушкин панически боялся этого, не зная, чем заняться. Выписав в своих книгах живых людей, он вычеркивал их из своей жизни.

Ушкин узнал, что студент на семинаре у одного из «зубров». Без работы. В голове завихрилось предчувствие интрижки: всадить занозу «зубру»: мол, даже студенты бегут к Ушкину – тогда он только начал «борьбу» за власть! Кроме того, ректор искал добросовестного и простоватого хозяйственника. Парень согласился с третьего раза. Но дело было не в должности.

За полгода Ушкин присмотрелся к студенту. Ученик усвоил тактический прием учителя: слушать, соглашаться с мелочами. И поступать по-своему. После первого же семинара, после первой же прочитанной им книги мэтра, Аспинин разгадал мастера: у того была приметливость, но «настоящий писатель» для парня – что-то другое. Объектом печали русской литературы всегда был человек. Все же главные герои Ушкина были мелочные капризные эгоцентрики. Он списывал их с себя, расцветчивал заимствованными мыслями, при этом

опасался, что кто-то разгадает его маскировку. И не мог вырваться за круг, очерченный своим скромным даром.

Ушкин, всегда надеясь на крупное исследование своего творчества, тогда испугался разоблачения, – той правды, что похоронит его имя даже для современников. Из него сделают тип изворотливой бездарности, как, например, в надругательстве Набокова над Чернышевским. И вычеркнут из памяти. Ученику это было по силам.

Ректор, было, настроился тихо «уйти» ученика обратно на заочку. Но учебный год закончился, а производственные вопросы – нет. Заведующий работал. Но самое интересное в его жизни, к чему ревновал Ушкин, оказалось укрыто от него. Избавившись от ученика, хватился Ушкин, он не узнает его замыслов, того, что знает про него тот, кто идет следом. Не поправит ученика, если тому доведется сказать свое слово.

Скоро Аспинин сам уволился.

Месяц назад, в свой последний приход, Аспинин оставил рукопись и... ни о чем не просил. Они слишком хорошо знали друг друга. Ушкин возглавлял комиссии по присуждению литературных премий, имел связи в издательствах. А Валерий, вопреки давлению Ушкина (Аспинин знал это!) защитил диссертацию, публиковался во второразрядных изданиях. И, поди ж ты! – надломил гордость и пришел...

Дома Ушкин наискосок одолел первый лист рукописи и впился в бумагу глазами.

Это была вещица на библейский сюжет. Ничего особенного. Дело было не в ней, а в ученике. За годы, что они не виделись, тот заметно прибавил в мастерстве. В литературе, вывел для себя Александр Сергеевич, существуют магистральные темы. Они направляют человеческую мысль на десятилетия. И – второстепенные: комментарии даровитых апологетов. Гений задает главные вопросы времени. Посредственности лишь утаптывают пространство за новаторами. Менялись эпохи, с ними менялись точки зрения людей на мир. Но суть человека вне суеты бытия неизменна. Поэтому неизменен и философский вопрос литературы: сокровенный космос человека в вечно меняющейся вселенной.

Ученик в образах выписал свои сомнения по вопросам, в которых сомневаться ныне не принято. Независимость суждений стала главным приобретением его работы.

В Ушкине проснулась прежняя вражда к бывшему ученику. Он вдруг со страхом догадался: его собственный творческий ступор – не случайность. Сколько бы он не уговаривал себя, что его творческое бессилие – лишь временный спад, что он исчерпал себя предыдущей работой и копит силы! – правдой оставалось то, что тот, кто отметил Ушкина своей десницей из миллионов людей, теперь отнял этот дар! Отнял по праву безжалостного закона о гении и злодействе. А взамен оставил сознание, что нет на свете мстительней существа, чем писатель, отдавший на откуп талант!

Когда в кабинет вошел невысокий мужчина в светлом летнем костюме, с костистым лицом и глубоко посаженными глазами, и его сопровождающий, черноволосый молодой человек с усталым, незапоминающимся лицом, Ушкин не сразу узнал в последнем куратора. Затем поднялся навстречу... и остался у рабочего кресла.

10

Чернявый, Шапошников, представил спутника: «Полукаров Антон Сергеевич». Тот поздоровался и уселся без приглашения. От него крепко шибало одеколоном. Куратор опустил на стул за плечом коллеги.

Полукаров извинился, что пришел без предупреждения, и рассказал о происшествии в Храме. Голос у него был негромкий и уверенный. Ректор сосредоточился: брюзгливый фантазер уступил в нем место чиновнику.

– Я слышал эту историю, – сказал Ушкин.

– Как таковой, постоянной работы у Аспинина нет. Он пишет по договорам. В трудовой книжке последняя запись – институт. Что вы можете рассказать об Аспинине?

– В архиве сейчас поищут его личное дело, – Ушкин потянулся к телефону.

– Это подождет. – Полукаров предупредительно поднял ладонь. – Скажите, что он за человек? Способен ли на необдуманные поступки? Можно ли управлять им... со стороны?

– Мы давно не виделись...

– Но вас даже не удивил его поступок в Храме?

– Антон... Сергеевич? – сказал ректор. – Что вы хотите услышать? Идиот он или замешен в заговоре? Я не психиатр. И насколько знаю, Валерий вполне уравновешенный и самостоятельный человек. Если для вас это имеет значение.

– Сейчас все имеет значение. Мы вот как поступим. Недавно Аспинин передал вам рукопись. – Ушкин чертыхнулся про себя: с кем он вздумал играть в кошки-мышки: «Давно не виделись!» – Давайте-ка, мы почитаем ее. И примем решение.

– Это очень слабая вещь. Не понимаю, какое отношение она имеет к хулиганству? Повесть – на евангельский сюжет, но не думаете же вы, что Аспинин стал бы декламировать рукопись в церкви!

– Нет, конечно, – Полукаров усмехнулся. – Если Аспинин вменяем, его осудят за злостное хулиганство. А если в его работах есть мысли экстремистского толка, – а судя по отрывкам, это возможно, – ему грозит двести восемьдесят вторая статья: разжигание религиозной ненависти. Это больше дело следственного комитета, чем наше.

– Вы что же будете его судить?

– О суде говорить рано. Совершена провокация против иерархов православной церкви. Нужно разобраться в мотивах.

– Все равно не понимаю: причем здесь рукопись?

– Возможно, не причем. Но пусть она полежит у нас, пока врачи понаблюдают за автором.

– Вы что же, по тексту будете составлять медицинское заключение? Ницше, Кафка и Андреев тоже были шизофрениками.

– Дотошный вы человек. Сразу видно – писатель! – фамиллярно пошутил Полукаров. – Ну, хорошо. У нас появилась дополнительная информация. Камеры наблюдения в храме зафиксировали истинного хулигана. Имя вам ничего не скажет. Парень дружит с детьми поселкового священника Зачатьевской церкви. Аспинин хорошо знает священника и ребят. Несколько лет назад в Климовске задержали участников экстремистской группировки, устроившей погром на рынке. Они изувечили несколько человек. Один избитый умер от побоев у себя на родине. Поэтому дело об убийстве возбуждать не стали. Юнец дал показания, что Аркадий Каланчев, сын священника, организовал группу радикально настроенной молодежи христианского толка и близко знаком с лидерами экстремистской группы. Прямых улик против него нет. Но после выходки в церкви деятельность Валерия и студентов можно рассматривать как разжигание национальной ненависти на религиозной почве.

Ушкин заходил по кабинету, прижав подмышками ладони.

– Почвенники значит! – сказал он с иронией.

Александр Сергеевич обретался среди крупных политиков и общественно значимых людей, способных одним движением вычеркнуть Полукаровых из действительности. Литературные заслуги делали Ушкина фигурой несоизмеримой рядом с этим серым воробьем из спецслужб. При всей абсурдности ситуации, он предположил осложнения, которые возникли у Аспинина. И писательскую ревность сменила инстинктивная неприязнь интеллигента к представителю пусть кукольной, но деспотии.

После короткой борьбы чиновник в нем взял верх над эмоциями.

– Дался вам этот экземпляр! Других что ли нет?

– Другие затерялись. Либо родственники их прячут. Электронную версию можно изменить. А отпечатанный текст... проще говоря, бумага – документ.

– Наштампуйте рукописи, сколько надо, с электронного носителя! Что за церемонии?

– Вы же, интеллигенция, обвините нас в нарушении закона, – хмыкнул Полукаров.

– А вы откуда узнали об экземпляре?

Разведчик помялся: – Из показаний Аспинина...

– Очень порядочно с вашей стороны воспользоваться его наивностью! – проворчал Ушкин. – Словом, ясно! Ваши начальники решили подстраховаться. Если с них потребуют, они вам прикажут сляпать дело о диссидентстве, о возбуждении ненависти по религиозным признакам, еще бог весть о чем. Аспинин будет каждые полгода проходить освидетельствование в больнице, пока станет вам не нужен. В итоге вы, как всегда, вляпаетесь, а ему сделаете рекламу, которая ему не снилась! Вы не подумали, прежде чем их сажать, что за вашими комбинациями судьбы людей?

– Никто пока никого не сажает.

По угрожающему спокойствию разведчика Ушкин угадал, что тот потерял терпение.

Шапошников исподлобья посмотрел на коллегу: он опаздывал в ясли за дочкой.

Ректор достал из сейфа рукопись и положил ее на стол.

– Читайте! Может, поймете, что читать нечего! Здесь первая часть. Вторую, говорит, не написал.

Шапошников смахнул бумаги в портфель и скользнул взглядом на ручные часы.

– Выпустили бы Аспинина, а малому влепили бы пятнадцать суток, – или сколько сейчас дают! – и назавтра об этой истории забыли! – сказал Ушкин.

Полукаров кисло улыбнулся.

После ухода чекистов Ушкин впервые подумал о своих дневниках, как подумал бы о чужой работе: вряд ли потомков заинтересуют его конспекты мелких склок и интрижек. Не манера письма, а выбор темы – вот определяющая искусства. Именно этот огонь освещает душу. Если ты взялся писать о жизни насекомых, или о голубом сале, как бы хорошо это не получилось, – другое тебе не дано! Хорошо или плохо справился ученик с библейской темой, но он доверился учителю. «А я его предал!» (Чушь с «физическим устранением» Ушкин в расчет не принимал, хотя чувствовал: именно этот «пустяк», как гвоздь, держит все дело!)

Как только Александр Сергеевич дал определение своему поступку, он постарался отгородиться от угрызений совести отговорками. Но он был из поколения тех, кто помнил сляпанные из ничего дела Бродского, Даниэля и Синявского, Бородина и множества других, безвестных, которым не повезло лишь потому, что они безвестны. Даже дурачки понимают, что с тех пор ничего не переменилось в стране, стоит лишь открыть газету, включить телевизор. Власть принадлежала и будет принадлежать практикам! Страной правят те же коммунисты и комсомольцы, но существенно улучшившие свое благосостояние: принадлежавшее им по должности, теперь принадлежит им навсегда по праву частной собственности. И только привычный русский «круг» или время может отменить эту марксистскую «спираль». А он, Ушкин, часть этой власти.

В деле Аспинина все еще может перемениться по капризу какого-нибудь вельможи, – подумал ректор. К тому же, происшествия такого рода не афишируются. Но ведь, когда его роль в этой пустячной истории станет известна, его будут судить именно за поступки, а не за то, что он написал!

В кабинете муха ударилась о стекло, упала на спинку и отчаянно жужжала.

Кажется у Веденеева, – сегодня ректор некстати вспоминал ученика! – Ушкин читал о себе: «...предательство – исток всех преступлений, самое тяжелое из всех известных человеку! Потому что предательство – это смерть совести. А человек без совести преступит все. Предатель – трус: он боится возмездия, избегает подельников и свидетелей. Предатель должен знать тварь еще ниже, гаже себя. Хоть бы эта тварь властвовала миром, и никто бы из смертных не ведал об исподнем ее души. Предатель надеется – он не одинок в своем падении, зияют пустоты сердца бездоннее, чем его, и с этим живут! Но каждый предаёт в одиночку, даже толпой.

Предают всяко: спасая жизнь свою или родных, под пытками, из любви, похоти, корысти, властолюбия, зависти, ненависти, глупости, за государство, народ, из соображений морали, долга, совести, из героизма. Предают все! Иногда обманывают себя тем, что близкому, другу или знакомому от предательства будет лучше. Предательство же ради самого предательства – это высшая форма человеческой безнравственности».

Александр Сергеевич, было, решил, дожидаться развязки. Лишь когда секретарь передала ему визитку Аспинина, – Ушкин удивился: у ученика есть брат? – ректор почувствовал вдохновение: дельце можно использовать в интересах усадьбы. Надо лишь придумать сюжет!

11

Мобильник Пайкиной, бывшей жены брата, не отвечал: та уехала с мужем в отпуск к матери. Ее соседи по коммуналке дали Аспинину их адрес на Псковщине. Подчиняясь скорее обещанию, данному брату, и желанию уехать из Москвы (хоть на время!) нежели здравому смыслу, – ничего искать не надо! – Андрей отправился в Псков.

Вечером в купейном вагоне поезда, увозившего Аспинина с Ленинградского вокзала, Андрей с разрешения Валерьяна пролистал его дневник.

«... Как всегда – сначала любовь, потом предательство».

«Как я расскажу ребенку свою жизнь? Объясню свою жизнь? Главное: зачем?»

Записи было три года!

«...Со второго этажа во дворе Серафима заметил понуро-сонную простоволосую девушку в футболке до голых бедер. Девушка прохлопала шлепанцами к летней душевой и обратно. Алена? Как повзрослела! Оба видения уместились в миг.

За письменным столом, поигрывая ручкой, и, укладываясь спать, я вспомнил Аню. Тогда такие же белые ножки художественной гимнастики разбудили в старом хрыче нежность к девочке. Теперь ничего не осталось. Даже вражды».

«Зашел к Серафиму. Дома только она. Читала и прихлебывала чай. Две косички. Голубая рубашка. Такие же голубые глаза. Покраснела. Закрыла книгу. Мою книгу. Ляпнул: „Про любовь? А уроки?“ Она ответила: „Чтобы так написать, нужно по-настоящему чувствовать“. Растерялся. Тут вошли Серафим и Саша. Она спрятала книгу».

«Она с братом уехала к родственникам в Челябинск».

«Накануне засиделся за компьютером. В седьмом часу Саша куда-то засобиравалась. Вышел к ней. Сказала – на электричку в Москву, чтобы встретить детей. У Серафима служба, он не может. Вызвался подвезти Сашу на вокзал, нести их тяжелый багаж.

Весь путь на Казанский не мог объяснить себе свой поступок. Когда электровоз тихонько уткнулся в тупик, состав вздрогнул и затих, а Саша юркнула в тамбур, и я остался среди пихавшей меня толпы, стало не по себе.

Голубые ситцевые брюки, светло-русые волосы, золотившиеся колечками на лбу, висках и на затылке. Да ведь было такое уже! Должно быть, постороннему забавно читать недомолвки старого идиота, которых он сам боится.

Вспомнил, как впятером ездили в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. На подножке средней двери переполненного троллейбуса, поддерживая ее за локоток, коснулся ее груди и, словно юнец, едва не задохнулся от жгучей неловкости. Потом шли от стадиона «Динамо», похожего на тюрьму, к церкви – дети, взявшись за руки, болтали и смеялись. Я рассказывал Аркадию и Саше из где-то читанного о парке на этом месте, о знаменитых московских ресторанах «Яр» и «Стрельна», о поместье младшего Рябушинского «Черный лебедь», где давались феерические балы, театр, гулянья, по воскресным дням играл оркестр военной музыки и раскланивались надворные советники с усами на ширину плеч.

Она обернулась, оставила парня и присоединилась к нам. Мне стало приятно, словно я одержал маленькую победу. Тут же представил, как иду за руку с ней, и рассмеялся над этой дичью. Все тоже засмеялись: не поняли, почему смеюсь я».

«Вечером с Серафимом отмечали приезд брата. Дети сидели на балконе: смотрели, как над рдяной сукровицей заката из синевы проступают дрожащие звезды. Серафим, Саша и Андрей разговаривали в гостиной. Поднялся к детям. Играл рок-медляк «Скорпионз». Она пригласила меня танцевать. Никита смотрел на нас с кривой ухмылкой. Я взглянул, словно его глазами: иллюзия близости в плавном топтании вокруг невидимой оси, упругая грудь девушки, ее руки, едва касавшиеся плеч, гибкая талия и теплый запах детского мыла от лица и цветочного шампуня от волос. Все это должно сводить его с ума.

«Никита ревнует меня к вам» – шепнула она. «Передай, что зря!» Извинился и ушел. Даже мыслей своих боюсь!»

«Серафим предложил съездить к его родителям в Ярославскую область. Он купил им старенький дом под дачу и участок.

Выехали двумя машинами. Дорогой завернули в Сергиево-Посадскую Лавру. Пока Серафим ходил по своим делам, праздно читали мраморные надгробья отцов церкви, поднимались на колокольню, упивались экстерьером Трапезной и великолепием Надкладезной часовни, в Царских палатах слушали хор семинаристов.

Какие чистые сильные голоса! Богатый иконостас! На Утиной башне мы всматривались в раскидистые дали грязно-зеленых лесов и бледно-желтых полей. Парень старался ее обнять или вести за талию. Она мягко отстранилась и пожала мой локоть.

Андрей Яковлевич дружелюбный старик. Серафим сочинил про отца экспромт: «Лопатой борода, в занозах руки, когда починит дом, то купит брюки!»

Пока женщины накрывали на стол, мы с Серафимом подогнали под просевшую балку потолка бревно, поочередно орудуя деревянной колотушкой. Парни накололи дров. За околицей набрали маслят и решили завтра по росе идти за белыми и смородиной».

Дальше рассветный лес в записях Валерьяна пестрел пятнистыми мухоморами, сумрачными ельниками, прозрачными березняками, дремучими дубравами с тесными плетениями корней, папоротниками в человеческий рост, россыпями грибной мелюзги.

Никита то и дело отставал от взрослых и звал Алену. Саша тревожно аукала. Валерьян наткнулся на выводок белых и окликнул ребят. Алена подбежала, радостно «ойкнула» и чмокнула Валерьяна в щеку. Обернулась на Никиту, – он проламывался через валежник, – и присела к грибам. Подол сарафана и рукава кофты девушки намокли от росы, резиновые сапоги блестели, на волосах и ресницах серебрились паутинки.

«Я подумал: повезло парню. По другую сторону огромного куста смородины Алена, громко переговариваясь с родителями, коснулась моих пальцев и замерла. Я убрал руку и отправился к старшим. Спинай чувствовал обиженный взгляд девочки.

Утром пошел искупаться в пруду. Аркадий плавал. Никита попытался поцеловать девушку на холодной земле, изрытой коровьими копытами. С другого берега на них лениво поглядывали жующие буренки. Алена отпихнула его. Мне стало гнусно, словно подглядывал в замочную скважину. Я ушел.

Все утро до отъезда Алена дулась. Саша что-то тихо выговаривала парню. А я поймал себя на мысли: зачем я шпионю за ними со своими записными книжками?

Перед самым выездом Саша подошла и сказала, что с девочкой неладное, но это возрастное, попросила быть к ней терпимее. Мы, слава Богу, поняли друг друга».

Следующая запись через год.

«Вечером встретил ее из Богословского. Она забрала документы. Два института не потянет. По телефону договорились с Серафимом, что из Москвы подвезу девочку.

Алена предложила пройтись. Пушок волос золотился на ее затылке из-под черепахового зажима. Мы шли по пустынному тротуару под осинами, увешенными листьями, как изумрудными медалями.

«К чему ваши разговоры о религии с Аркашей? – спросила. – Они еще мальчишки. Не знают, куда применить силы. Разве нельзя просто любить и быть счастливыми? Я прочитала ваш роман. Вы любите своих героев. Чувствуете, как они. Я вас люблю. Я вас полюбила еще тогда, на веранде. Только не понимала,

что это такое. Знаю, что вы скажете: девочки влюбляются в учителей! пройдет! Знаю, что вы меня не полюбите, как женщину, иначе предадите моих родителей и брата».

«Мне сорок. У тебя есть Никита». «Я не люблю его». «Зачем же ты мучаешь его?» «Мне нравится. Любовь это приятная мука! Разве нет? Теперь вы будете избегать меня. Затем вовсе перестанете к нам приходить. Потом женитесь. Ведь вы живете с женщиной? Вот и я отучу Никиту от себя».

Губы ее дрожали.

«Ты действительно выросла. Жаль, что я родился слишком рано...»

Дорогой мы молчали. Алена успокоилась. После Пайкиной мне все равно, кто останется рядом! Но детям о таких вещах не говорят».

«Забрал у Аркадия гранату. Говорили о многом. Записывать не хочется».

Андрей убрал дневник в сумку и долго глядел в черное окно купе.

По указанному адресу Аспинин никого не застал. На обратном пути из Пскова ему на мобильник позвонил Ушкин. Договорились назавтра встретиться в институте.

12

Утром усадьба пустовала. Ушкин кивнул Аспинину, указал на кресло и предложил чаю. Затем услужливо звякнул серебряным подстаканником перед Андреем.

Аспинин так и представлял ректора: молодящийся старичок с ехидным личиком.

Они помолчали, присматриваясь друг к другу.

– Ты о чем-то хотел попросить? – сказал Ушкин.

– Да! Вытащите брата из психушки. Он хорохорится. Но надолго его не хватит.

Ректор неторопливо прошел по кабинету, заложив кисти рук подмышки.

– Он точно не писал антиправительственные призывы? – спросил Ушкин.

– Он бы мне сказал.

Ушкин быстро взглянул на Аспинина и пошевелил щеточкой усов.

– У нас обоих незавидное положение, старик. В шахматах это называется пат. Ходить некуда, а мат поставить нельзя. – Ректор снова прошел по кабинету. – Я прожил жизнь и повидал всякое. Особенно в этой среде. Наши бюрократы всегда боялись огласки. Понимаешь, о чем я? Не знаю, что скажут мои друзья из «Нашего современника», если я открыто обращусь к ним за помощью. Или из «Нового Мира». Для крупных политиков, которых я знаю, твой брат тоже пустое место. Надеюсь, старик, ты понимаешь меня?

– Вы не хотите рисковать карьерой из-за пустяка.

Ушкин пренебрежительно отмахнулся:

– Где ты нахватался этих американизмов? Карьера! Мою карьеру уже ничто не испортит. Я говорю о публичном выступлении в защиту твоего брата людей из его среды.

– Разве нельзя просто замять эту историю?

– Каким образом? Обстоятельства ты знаешь не хуже меня. Одно дело освободить твоего брата – формально он еще ни в чем не виноват. Другое – хулиганство и, и... вся эта ерунда! Мальчишку все равно накажут. А вам надо подумать о том, чтобы на вас не повесили все, что они наплели.

– Понимаю. Но я никого не знаю!

– Должны же быть у Валеры друзья. Он не новичок в нашем деле!

Ушкин подошел к небольшому стальному сейфу, долго ковырялся в замке и положил перед Андреем стопку отпечатанных страниц. Аспинин коснулся рукописи, сло внопроверяя ее вещественность. Казалось, от страниц исходило тепло.

– Это ксерокопия, – сказал Ушкин. – Забирай.

– Вы им тоже отдали?

– Это не такая уж большая ценность, – уклончиво ответил Ушкин. – Подумай, что с этим можно сделать. С художественной точки зрения повесть – пших. Но это не имеет значения. Они еще не решили сажать или не сажать Валеру. А если сажать, то за что? Может они захотят использовать вас для своих целей. Чтобы решить, общественно значимая фигура твой брат или нет, им нужна рукопись целиком. Все написанное им прежде – не в его пользу. Думаю, если специалисты увидят в этой вещи, даже в таком виде, нечто, им с Валерой будет труднее справиться. Тебе, старик, надо расшевелить людей. Заставить их обратить внимание на брата. Кто знает, может он хулиганил из идейных соображений. Шучу!

Андрей уложил бумаги в папку.

– Это его рукописи? – ректор насторожился, заметив пачку листов. – Спрячь их, пока шум не уляжется. И остерегайся этого плешивенького, который ведет ваше дело. Он службист. Раздавит, не заметит. Я в свою очередь подумаю, чем помочь. Обещать ничего не могу.

В поселок Аспинин добрался поздно вечером. Веденеева дома не было. Андрей умылся, поднялся в кабинет и за столом разложил рукопись.

Часть вторая. Бунт

В 748 году от основания Рима, в месяц Тебеф, тринадцатого дня, когда на небосводе сошлись три планеты Юпитер, Сатурн и Марс, в провинции Сирия в пределах земель тетрарха Галилеи, «общества язычников» и Переи, Антипаса, старшего сына Ирода Великого, в семье плотника Йосефа и его жены Мирьям родился новый подданный.

На восьмой день после рождения выполнили обряд. На тридцать четвертый, после очищения своего за сына, мать принесла двух горлиц во всесожжение и в жертву за грех.

Мальчика называли Йехошуа.

2

Закончилась четвертая стража. За отогнутым краем шерстяной занавески, закрывавшей стену, под потолком посветлело окно. У входной двери закудахтали куры, и вдруг петух спросонья прокукарекал во всю дурь. Вдалеке его собратья подхватили перекличку. Под деревянным настилом вздохнула овца. Мужчина на циновке укутался в одеяло и громче захрапел.

Мальчик, еще в плену дремы, прижался к теплой спине матери. Но встрепенулся и решительно выскользнул из-под одеяла.

Дрожа от предрассветного холода, он натянул одежду. Брат, наверное, уже ждал у городского фонтана, и надо было торопиться. Это Иааков научил младшего вскакивать с постели, чтобы прогнать сон.

Мальчик прокрался вниз по ступенькам: ноги сразу застыли на земляном полу. Шерстяной комочек ткнулся в живот влажным теплым носом. Мальчик присел, обнял ягненка за шею и погладил его мягкий чубчик.

– Нет, Барашек, сегодня ты останешься дома! – прошептал он. Отодвинул деревянный засов на двери и скользнул во двор. Ополоснул лицо дождевой водой из глиняной цистерны под водостоком, – сезон зимних дождей закончился, близилась летняя засуха, – и припустил по топкой пыли вверх по улице к северной окраине города.

Иааков ждал у мраморного нимфея. Он нетерпеливо дрыгал босой ногой. Из гранитной стены по разбитым ступенькам сочился ручеек. Горожане называли это место Малым Фонтаном в насмешку над архитектурными роскошествами великого царя. Женщины брали воду в Большом Фонтане в центре у синагоги.

На Иаакове, как и на брате, была туника грубой шерсти, подпоясанная бечевой. На загорелых руках белели зажившие ссадины, а в черных кудрях застряли соломины из тюфяка. Иааков прыгнул на землю, сердито буркнул: – Пошли! – и зашагал к городским воротам. Йехошуа поплелся следом.

Он был на перст ниже Иаакова и на год младше: тому исполнилось восемь. Но худощавый Йехошуа казался одного с ним роста, и братьев путали.

Они миновали глиняные домишки, прилепленные друг к другу, словно пчелиные соты. Первые крестьяне через городские ворота спешили на рынок.

Тропинка уводила по холму через хвойную рощу. Этот путь был короче дороги на восточном склоне мимо фиговых садов, сикомор и гранатов: по ней крестьяне на ослах везли в город инжир и изюм. Еще ниже, у юго-восточного подножья гор, на юг, к большой дороге на Цор вился караванный путь из Итуреи.

Мальчики спешили к деду в Канны, чтобы идти в лес за травами.

В воображении детей на востоке плавные полукружья горы Фавор позолотились, словно в недрах гранита разгоралась заря. Равнина Мегиддо на юго-западе и долина Иордан на юго-востоке за пихтами и соснами дремала в темно-синей дымке. Вершины гор Гелвуй на юге и Кармил на западе тронули первые краски восхода.

Мальчики зашагали под пологий склон, вдоль терновых кустарников в шесть локтей высотой. Кое-где среди колючек еще белели цветы. Далеко внизу за стрельчатыми верхушками белых тополей высились финиковые пальмы с прямыми стволами, как в сухой рыбьей чешуе. Их огромные изумрудные листья походили на перья гигантских птиц. Тут и там алели цветы приземистых гранатовых деревьев. Первые приветствия птиц новому дню разносились эхом в прозрачном воздухе.

Мальчики припустили по мягкой траве, срезая изгибы тропинки. До Канны было едва ли сорок стадий, или пять римских поприщ. А братья отмахали лишь половину пути.

Наконец, за деревьями завиднелись ряды виноградников, а на вершине холма – крытая соломой на деревянных столбах сторожевая башня от воров. Дальше начинался пригород. В ложбине на краю пальмовой рощи у ручья примостился каменный дом с пристройками вокруг двора. На сочном лугу перед лесом паслись черные овцы и рыжие козы. Одна на задних ногах обгладывала куст, передними опершись о ветки. Из-за сарая вышла бабушка: она несла что-то в подоле. Братья бросились наперегонки через корни и кочки.

Дом Иехойахима и Ханны некогда построил кожевник. За городом. Чтобы тяжкий дух из мастерской не раздражал соседей. И ныне в сарае, где когда-то хранились неотделанные шкуры, еще держалась сладковато-приторная вонь. Дом купил отец Иехойахима, гончар Иааков: выше по крутому берегу ручья было много красной глины, а у городских стен на откосе – в изобилии известняка, его растолченным добавляли в глину. Иааков построил печь для обжига. Выучил сыновей ремеслу и рассчитал подмастерьев. Двое младших братьев Иехойахима обосновались в городе, а он после смерти родителей расширил виноградник. Господь подарил Иехойахиму и Ханне сына и двух дочерей. Сын женился и осел среди гончаров, ближе к дядьям. Виноградники и ремесло приносили небольшой, но верный доход.

За домом в канаве валялась груда битой посуды и черепков. Под навесом стояли два гончарных круга: деревянный, на нем помощники делали заготовки, и каменный, для мастера, с дисками разного диаметра. На каменном Иехойахим обрабатывал детали. На покрывале из козьего волоса сохла глина. Мальчики знали: когда комья рассыпятся, помощники измельчат их и очистят от примесей. Вдоль стены мастерской сохло два десятка кувшинов в бат каждый: им еще предстояло вернуться на гончарный круг. Тут же поблескивали полированными боками кувшины поменьше, не больше лога и ценой несколько лепт. Особняком под навесом стояли четыре дорогих кувшина: два рифленых с черно-красными поперечными полосами и два черных – для мирта, сделанные на заказ. Перед обжигом дед опускал эти кувшины в оливковое масло, чтобы они окрасились в черный цвет, и заставлял помощников тщательно полировать бока посуды деревянными терками, придавая кувшинам глянец.

Братья нашли деда за гончарней под навесом, пристроенной к внешней стене у леса. Это был еще крепкий мужчина лет пятидесяти, сутуловатый и мосластый. В его вьющихся черных волосах и в бороде едва змеилась седина. Рабочая эскамида открывала крепкие икры и шрам на правой лодыжке. Дед жестикулировал и басил какие-то пояснения коротышке с одутловатым лицом. Поверх синдона тонкого полотна тот носил светло-коричневый гиматий, на ногах греческие сандалии. Дед добавил в кисет незнакомца щепотку измельченных листьев сухого дурмана и наказывал вдыхать дым травы, чтобы не задохнуться при грудной болезни.

Люди считали Иехойахима своенравным чудаком. На досуге он любил приврать о далеких странах, где якобы бывал. Говаривали: в молодости он ослушался отца и подался за Иордан к ессеям. Другие утверждали: на севере у язычников он дошел до самого Великого города, а потом нанялся в отряды Варрона, тогдашнего правителя Сирии, и очищал мечом окрестности Дамаска от разбойников Зенодора: земли последнего по приказу Цезаря перешли Ироду Великому. Утверждали: врачевать Иехойахим научился у ессеев. Другие – что старый гончар хранил короткий меч: подарок сотника за доблесть.

Под навесом на полках, уложенные в аккуратные ряды на полотняные тряпки, сушились травы.

В Канне лечил грек Елисей, окончивший Александрийскую медицинскую школу, а при синагоге в Назарете – хирург. Ученые присылали к старому гончару за травами. Елисей подарил Иехойахиму таблицу соотношения крови, флегмы, желтой и черной желчи к временам года и предрасположенности к болезням, составленную по трудам знаменитого Полибия, зятя великого Гиппократы. Только чтец молитвенного дома в Назарете, фарисей Ицхак, прозванный людьми «косолапый» – при ходьбе он волочил ноги и спотыкался, словно изможденный служением Закону – недолюбливал Иехойахима. Он пенял: простолюдину заниматься исцелением – грех. Но мирился с тем, что люди с разрешения равви обращались за лечением не к Богу, а к лекарям. Иааков ходил в школу при молитвенном доме, и как-то в лесу спросил деда:

– А разве не сказано в третьей книге Закона, что люди болеют, не исполняя заповедей Господа, и Господь посылает на них чахлость и горячку?

– Сказано... – пробасил Иехойахим.

– Так зачем мы ищем для них снадобья, перечим Господу? Не грех ли это?

Иехойахим хмыкнул, смекнув, чьи речи перекладывает внук.

– Но если человек выздоровеет, не значит ли, что Господь отпустил ему грехи?

Подумав, мальчик согласился.

– А, помогая больному, не помогаем ли мы Господу? Может ли грешник угодить Богу?

Йехошуа засмеялся.

– А ты, смотрю, ленив. Оставался бы дома, если не хотел идти в лес!

Иааков покраснел: от деда не утаить мысли. А Иехойахим обернулся к младшему:

– Смотри-ка! Мал, а понимает. Да и памятью Господь не обидел! В травах больше тебя смыслит, и Закон лучше тебя постиг.

У Иехойахима было пять внуков и две внучки. Никого из детей он не выделял, чтоб не обидеть других. Правда, кроме Иаакова и Йехошуа, остальные были малы, чтоб ими занимался. Иааков нетерпеливый как отец, неуступчивый в потасовках, смелый и осторожный, не помнил зла. Йехошуа, по наблюдениям деда, не обладал ловкостью брата. Но его твердость подчиняла старшего. Черные глаза таили иронию на пылкие слова брата, а наедине дед и внук могли не проронить ни слова, и диалог молчания делал их друзьями.

Иехойахим отпустил покупателя. От деда пахло травами и цветами.

– Пошли собираться! – сказал он.

Дети побежали во двор. Из дома выглянула Ханна. Мальчики бросились к ней. От бабушки пахло ржаными лепешками и козьим молоком. К сорока пяти от тяжелой работы фигура ее напоминала колоду для колки дров. Но из-под платка, обвязанного плетеным пояском, вились густые черные волосы.

Загорелое лицо в мелких морщинах хранило скромную красоту, унаследованную обеими дочерьми. Ее зрение ослабело за прялкой, но это не мешало Ханне: утварь в доме была на местах, и она могла найти вещи на ощупь. Иехойахим поил жену отваром из сухого аира и делал ей горячие и холодные примочки на глаза. За большой рост она шутливо называла Иехойахима Великий.

Бывало, вечерами они с внуками слушали рассказы гончара о городах и башнях, возведенных кичливым царем во славу семьи и друзей. Агриппион, восстановленный и переименованный в память о друге приморский город Анфедон; Друзион, красивейшая башня в честь пасынка Цезаря, на волнорезе в двести локтей шириной в гавани Стратоновой Башни, переименованной в Цезарию и заново отстроенную из известкового камня; Антипатрида, город на равнине в честь отца; Кипра, изумительной красоты крепость в Иерихоне, посвященная матери...

В рассказах деда всегда появлялись новые подробности.

Давным-давно Иехойахим у городского ручья попросил Ханну напиться из кувшина. На незнакомце был выгоревший гиматий и рыжие от пыли сандалии legionera из вспомогательного отряда. Парень вел навьюченного осла и прихрамывал на правую ногу. В его черных глазах резвились веселые огоньки. Еще дважды, подпоясавшись кожаным поясом, в красной тунике изо льна и в легком, до колен, полосатом халате, молодой франт поигрывал медным ножичком с золотой рукояткой – выставленная напоказ роскошная безделушка – и под теревинфом недалеко от ручья поджидал свою застенчивую знакомую. Через месяц он прислал в дом родителей Ханны братьев, потому что еще не обзавелся в этом краю друзьями. Молодые обменялись серебряными браслетами, и Иехойахим заплатил будущему тестю мохар серебром. Он получил в приданое виноградник рядом с землей отца. В месяц же Тшири, после Дня Очищения, когда козла изгнали в пустыню и удалили грехи народа, Иехойахим привел молодую жену в дом отца по дороге, освещенной факелами. У Ханны отчаянно билось сердце, когда в темноте, в спальне, пахнувшей миртом и елеем, он коснулся ее ладони, и она поняла, что должна стать женой этого чужого огромного мужчины. Тогда он потерся мягкой бородой о ее щеку. Ханна засмеялась, и страх прошел.

Давно уже красная туника и халат перешли сыну, «молодой франт» ссутулился, и большие ладони его стали шершавыми, как пористый камень, черные же глаза потускнели, и в округе нельзя было найти дома, где бы ни было горшка или

светильника, сделанного Иехойахимом. А старый гончар задумчиво вглядывался на север в сторону горы Ермон, откуда лет двадцать назад он вернулся, ведя на поводе груженого осла.

Дед приказал жене завернуть лепешки в листья смоковницы и уложить в котомки.

– Приходил Савва, торговец, – сказал он. – Днями он вернулся из Антиохии. Там говорят, десятину опять будем платить не Богу, а Цезарю...

– Порази их пророк Элия.

– Легат Квинций приказал всех посчитать. Так Савва говорит.

– А легат выше народоправителя? – спросил Иааков.

– Выше, – пробормотал гончар и покивал. – Забыли Макоев.

Мальчики переглянулись. Слова деда таили угрозу. Ханна вздохнула.

3

Более не мешкая, дед и внуки отправились по ложбине вдоль ручья. За поясами ножи (чтобы срезать кору молодого дуба), на плечах котомки.

Тут и там пестрели цветы, как разноцветный бисер на изумрудном бархате. Иехойахим, походя, напоминал внукам знакомые травы и задерживался у неизвестных: объяснял, когда и где их лучше искать и собирать. Дед показал внукам белую омелу, паразитом вцепившуюся в развилину старой сосны. Желтовато-зеленые цветы омелы почти осыпались. Иехойахим объяснял, как из ее листьев готовят настойки, чтоб изгонять беса из одержимых. Рассказывал с иронией, и мальчики не поняли, шутит дед либо говорит правду.

У ручья сделали привал. Иааков упал навзничь, отшвырнув через голову пустую котомку. Йехошуа опустился рядом с дедом. Сумка Иехойахима была полна травами.

Кінець ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.com/osinskiy_valeriy/predatel

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)